

Николай ПОЛОТНЯНКО

СЧАСТЛИВ ПОСМЕРТНО

Современный русский роман

Глава третья¹

– 1 –

От райцентра, где после самоликвидации райкома партии стал единолично властвовать Кидяев, до Москвы было едва ли меньше тысячи вёрст, но, благодаря телевидению, обыватели нашей глухомани уже несколько лет, как стали свидетелями приготовления для всего Союза перестроечного варева, поварами самого высшего цэкашного и цэрэушного разбора. Их толкотня и грызня возле начинавшего взбухать, пузыриться и расплескиваться пошла для замордованного великой ложью народа внезапно закончилась тем, что котёл с кипящими демократическими помоями был опрокинут, и его содержимое стало растекаться по городам и весям одной шестой земной суши, распространяя зловоние распада и человеческих душ, и тысячелетней державы.

Тимофей Максимович узнал эту новость сразу же, как заговорило проводное радио, которое всегда вместо будильника оставалось включенным на ночь. Он покосился на телефон: в стране начался великий перетряс, создано какое-то ГКЧП, а что на областном, на районном уровне? Или Москву страна, народ, мнение руководящей номенклатуры не интересует? Кидяев заторопился, в летней кухне побрился электробритвой, съел маленькую тарелочку творога со сметаной и устремился на улицу, где его ожидала машина.

Проезжая мимо особняка первого секретаря райкома партии, Тимофей Максимович был вынужден задержаться: его явно поджидал Иван Сергеевич, в спортивном костюме, на лысине парусиновая панама:

– Я полагал, что ты в Москве, – сказал Кидяев, цепко оглядывая беглого партийца.

– Приехал вчера, кое-какие, что остались, шобоны распродать. Ты слышал?

– Не глухой, – буркнул Кидяев. – У тебя, Иван, связи на Старой площади, так что, этот бардак тоже был там задуман?

– Нет у меня никого, – вздохнул Иван Сергеевич. – Я сейчас пенсионер мытищинского значения. А что Фрол Гордеевич?

– С ним, наверно, перед тем как кашу заваривать, тоже не посоветовались. Вот приеду к себе, может, что и прояснится. А ты не надумал в свой кабинет вернуться? Печать цела, ключи тоже, я в райкоме милицейский пост учредил, чтобы сторожили имущество от антибюрократов. Думай, Иван, как бы не промахнуться.

– Поздно думать! – мрачно произнёс Иван Сергеевич. – Всё уже решено и подписано – Союзу не быть!

Кидяев молча сел в машину и буркнул Паулкину:

– Гони!

На бывшего первого секретаря райкома партии он даже не посмотрел, тот просто перестал для него существовать, уже окончательно и бесповоротно. «Редиска! – язвительно подумал Тимофей Максимович. – Быстренько с него всю партийность сдуло, а каких только клятв не давал, проходимец!»

Между партийными и советскими работниками, начиная с первых дней советской власти, всегда существовала тщательно скрываемая вражда. Работники исполкомов и напрямую подчиненных им управлений, от милиции до похоронных служб, выполняли

¹ Главы 1-2 опубликованы в №15 «Невского проспекта».

действительную работу, а партноменклатура обременяла себя общим руководством, которое заключалось в раздаче наград и взысканий, от выговора до исключения из рядов КПСС, что означало для любого начальника его умерщвление как личности.

Кидяев относительно быстро достиг своего сегодняшнего положения и в силу этого чаще грозил другим, чем получал втык сверху, но он видел и знал, что именно исполком тянет всю работу и в районе, и в области, а в Москве этот воз тянет совмин, а партноменклатура околачивает груши. Эта лафа для них, кажется, подошла к концу, но Тимофея Максимовича беспокоила не судьба всей этой шоблы, а то, каким боком выйдут для него события в Москве.

Шофер, притормаживая возле райисполкома машину, напомнил:

— В питомник сегодня не поедём?

— Куда? — тряхнул головой Кидяев. — Сегодня Яблочный Спас? Ты сгоняй, Владимир Иванович, один. Мне нужно быть у себя, — сегодня, по всем правилам, можно было отведать свежих яблок, и Тимофей Максимович обычно ездил для этого в Хмельёвку, где был известный на всю округу фруктовый сад. — Прямо сейчас и сгоняй туда! — решил Кидяев — Привези моих любимых яблок и не забудь прихватить Романова, он мне нужен.

Было около семи часов утра, на крыльце предрика встретил комендант и отрапортовал, что происшествий не случилось, чем позабавил своего шефа.

— Так и не случилось? — строго спросил он старого армейского отставника. — А что в Москве творится? Или не знаешь?

— За порядок в столице отвечает начальник Московского гарнизона, — сказал комендант. — А в здании полный порядок. Уборка произведена вечером, ваш кабинет я проветрил лично.

— Спасибо, Захарыч! — улыбнулся Кидяев. — Как внук? Поступил?

— Куда ему деваться — отец у него подполковник, надо марку держать.

Кидяев поднялся на второй этаж, прошёл в свой кабинет и включил телевизор. Сначала послышались звуки музыки, затем в мутной пелене экрана появились и музыканты, перед которыми плавно помахивал руками дирижёр симфонического оркестра. Подобное представление на всю страну давали в день смерти Брежнева. «А кто сейчас умер? — невольно спросил себя Кидяев. — КПСС? Советский Союз? Или оба разом?..»

Он покосился на пульт телефонной связи с левой стороны своего письменного стола. Зелёная лампочка-неонка светилась, значит, все аппараты были включены, и Тимофей Максимович снял трубку телефона прямой связи с облисполкомом. Ему тотчас же ответил помощник Фрола Гордеевича:

— Приёмная облисполкома.

— Привет, Петрович, это Кидяев. Сам не у себя?

— Пока не подъехал. А у тебя что за вопрос?

— Как понимать концерт симфонического оркестра? — волнуясь, сказал Кидяев.

— Что за номер после симфонии будет? Танец с саблями или ария Кончака?

— Программа концерта мне неизвестна, — осторожно произнёс помощник. — А из центра на этот счёт никаких разъяснений не поступало.

— Но мнение-то хоть какое-нибудь есть?

— Есть, но неофициальное, — помедлив, сказал помощник. — Не высовываться и ждать.

Дальше продолжать разговор не имело смысла, и Кидяев, положив трубку, остро глянул на появившегося в кабинете начальника райотдела милиции.

— Последние два дня ты меня, Валерий Кузьмич, не огорчал, а как сегодня? Чем порадуешь?

— Новость есть, — негромко произнёс Буряк. — Наш чекист только что драпанул.

— Может, его в управление вызвали в связи с концертом симфонической музыки?

— Вряд ли, — майор сел в кресло и положил на стол несколько ещё влажных фотографий. — Вот фоторепортаж с места событий.

Межрайонное отделение областного управления КГБ находилось неподалёку от райисполкома в новом двухэтажном доме, и Кидяев с первого взгляда сразу определил, что информация у Буряка точная: на слегка мутноватых снимках явственно смотрелся и капитан — гэбист и его супруга возле громадного грузовика, вокруг которого находились солдаты, занятые погрузкой домашних вещей.

— Расцениваю этот факт, — сказал Кидяев, — как весьма убедительный знак того, что КГБ этот симфонический концерт не поддерживает. А что твой министр Пуго? Или милиция тоже в стороне?

— Пока всё глухо, как в танке, — сказал Буряк, пряча фотографии в карман. — Ночь прошла спокойно, только возле видеосалона случилась небольшая драка. Опять пригородные с центровыми сцепились. Обычно они обходят друг друга стороной, но

вот потянуло всех в видеогадюшник, который райком комсомола открыл на вокзале.

— Драки нам не нужны, — забеспокоился Кидяев. — Но как запретить видеосалон? Может, организовать общественность, тех же антибюрократов?

— Они уже на порнуху купились, — осклабился Буряк. — Их пригласили как почётных гостей, бесплатно, на открытие этого видеогадюшника.

— Ну и что? — заинтересовался Кидяев. — Никто там дуба от избытка впечатлений не дал?

— Вышли, как из бани, потные и красные, и разбежались по домам, наверно, своих баб мять по-заграничному, — хохотнул майор. — Но меня Сухов одолел жалобами на Смирнова: тот норовит сместить редактора и занять его место.

— Ты отслеживай действия антибюрократов в этом направлении, но крайностей, Валерий Кузьмич, не допускай, — сказал Кидяев. — Газета нам самим нужна, но без Сухова. Сейчас пресса заимела большую силу, и надо взять её под себя.

Внезапно музыка, звучавшая из телевизора, прервалась, он несколько раз мигнул и выдал физиономии известного на всю страну диктора, который пошелестел лежавшими перед ним бумажками и, оглянувшись на кого-то невидимого зрителям, повернул к ним своё встревоженное лицо, и вновь зазвучала музыка.

Дверь кабинета приоткрылась, и в щель слегка всунулся Сухов, нервно поблёскивая припухшими глазками.

— Тимофей Максимович, можно?

— А ты лёгок на помине, — весело произнёс Кидяев. — У тебя газета сегодня выходит?

— Номер выходит завтра, но что давать на первую полосу? В Москве не разбери поймёшь, что творится, телетайп молчит или гонит всякую чепуху.

— А что это у тебя в руке, заявление?

— Передовица в завтрашний номер. Ввиду отсутствия райкома партии и лично Ивана Сергеевича, прошу прочитать статью и завизировать согласование.

— Экий ты буквоед, Сухов! — удивился Кидяев. — О чём статья?

— О вертепе разврата, который открыли комсомольцы под видом видеосалона.

Предрика протянул руководящую длань, и Сухов вложил в неё два листа бумаги. Тимофей Максимович пробежал глазами одну страницу, другую, хмыкнул и произнёс:

— Круто! Особенно насчет калёного железа, чтобы выжечь заразу. А что, действительно противно смотреть на голых баб и всякие штучки-дрючки? Я представляю, Сухов, как тяжело тебе было видеть всё это! Или ты не был в этом греховодном заведении?

— Разве я мог туда пойти? — прошептал, покрываясь красными пятнами, редактор. — Но я, Тимофей Максимович, стоял за дверью. Это вертеп!

Буряк, воспользовавшись паузой, приподнялся из кресла:

— Мне нужно в отдел на разбор полётов.

— Ступай, майор, и держи руку на пульсе. Нельзя допустить в эти дни какую-нибудь оплошку. И если твой министр Пуго проснётся, то дай об этом знать.

Сухов был так озабочен судьбой своей статьи, что на это раз не воззвал к Буряку с мольбой о помощи против распоясавшихся антибюрократов, а только жалобно на него посмотрел и жалко, со стоном вздохнул.

— Забери свои бумажки, Сухов, — поморщился Кидяев. — Сейчас насчёт частной инициативы закон ясный и понятный всякому дубаку: разрешено всё, что не запрещено. Ты ведь сам в газетке об этом пишешь. А теперь решил наводить порядки.

— Но мораль, нравственность никто не отменял, — вякнул редактор.

— Иди, Сухов, у меня и без твоих заморочек голова болит. Сейчас свобода слова, печатай что хочешь, пока ты редактор, но оглядывайся: оступишься, и райисполком тебя призовет к ответу.

Редактор взял со стола статью и, неслышно ступая по кремлёвской дорожке, вышел, а Кидяев направился в «бокоушку», комнату отдыха, где достал из холодильника початую бутылку армянского коньяка, плеснул в стакан, опрокинул в рот и закусил долькой засахаренного лимона. Уже через минуту Тимофей Максимович почувствовал себя гораздо лучше, напиток пятигодичной выдержки провентилировал затуманенную голову, разошёлся приятной теплотой по всему телу. Кидяев помахал руками, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и, перед тем как спрятать бутылку в холодильник, повторил упражнение со стаканом, поскольку считал, что всему, даже глотку коньяка, должна быть пара. Утерев перед зеркалом рот полотенцем, он сбрызнул себя из пульверизатора «Шипром», вернулся на своё рабочее место и нажал кнопку переговорного устройства:

— Поспелов? Люди на заготовку соломы в Казахстан отправлены?

— Только что получил сообщение от начальника станции, что им запретили отправлять вагоны за пределы РСФСР.

— И почему?

— Республики не отправляют вагоны в нашу сторону, чтобы не распылять подвижной состав на случай своего выхода из Союза.

Кидяев отклонился от переговорного устройства и задумался. Он был готов, когда начиналась перестройка, ко многому, но только не к распаду страны. Однако после некоторого размышления Тимофей Максимович окреп духом. Здоровый инстинкт самосохранения ему подсказывал, что нужно идти вместе со всеми, только не в первых рядах, чтобы успеть отпрыгнуть от пропасти, когда в неё повалятся самые ретивые, но и не опаздывать: на райисполкоме он надеялся просидеть ещё долго, сколько позволит здоровье.

— Не дрейфь, Тимоха! — подбодрил он себя свистящим шепотом. — Прорвёмся!

— 2 —

Перед въездом в Хмелёвку Паулкина обогнала, обдав его пылью, «Волга». Чертыхнувшись, Владимир Иванович поглядел ей вслед. Он хорошо знал шофёра Гошку Кирдяшкина, который считал, что личному водителю первого секретаря райкома партии позволено делать на дороге всё, что запрещено другим, и широко пользовался своей безнаказанностью. «За яблоками торопится, — догадался Паулкин. — Как бы его не угостили, дурачка, чем-нибудь кислым».

Народ был в поле и на фермах, и, проехав по пустынной улице к сельсовету, Владимир Иванович остановился и, не покидая машину, спросил женщину, которая поливала из лейки цветы:

— Ваш президент на месте, Валентина?

— Он, Владимир Иванович, в питомник поехал с утра.

— Кто-нибудь ещё Романова спрашивал?

— Директор детдома приехал за яблоками для своих ребят, а больше пока никто.

— А куда памятник Ленину спрятали? — спросил Паулкин.

— Романов велел положить его пока в дровяной сарай. Будем составлять годовой отчёт и спишем.

Проезжая мимо обезглавленного постамент, сиротливо торчащего среди жидких кустиков акации, Паулкин подумал, что свято место пусто не бывает и через какое-то время перед окнами сельсовета появится изваяние того, кто сумеет, пользуясь сумятицей перестройки, выше других влезть на дерево власти и, раскочиваясь на нём, проорать, что ему с ветки отчётливо видно счастливое будущее страны и он знает к нему верную дорогу.

Столь дерзкие мысли возникли у Владимира Ивановича не случайно: за двадцать лет работы с Кидяевым он повидал немало внезапных взлётов и сокрушительных падений с высот районного и даже областного масштаба многих начальников, и это давало ему право предположить, что та же грызня и возня имеет место быть и возле державного кормила власти, особенно сейчас, когда в Москве началось то ли массовое умопомешательство, то ли гражданская война.

Израйцентрамосковская заваруха смотрелась потелевизору какой-то ненастоящей, игрушечной, но Паулкин на всякий случай оглянулся на себя и, вырвав на дорогу к питомнику, с удовлетворением подытожил, что не зря столько лет крутил баранку номенклатурной «волжанки». За это время он выстроил кирпичный на шесть комнат особняк, приобрел «уазик», держал на подворье корову, обязательно с нетелью и телёнком, десяток овец, пару кабанчиков, ораву гусей и хохлаток. Конечно, достаток зарабатывался горбом, но Паулкину повезло с детьми: дочь после фармучилища вышла замуж за спокойного и работающего парня, а сын собирался жениться и жить вместе с родителями. С такими тылами и зажитками Паулкин легко мог пережить не одну перестройку, но он был советским человеком, ему за покачнувшуюся державу было обидно, и Владимир Иванович надеялся только на одно, что явится новый Сталин и наведёт в стране железный порядок.

В саду было шумно. Кирдяшкин на высоких тонах разговаривал с бригадиром питомника, и Романов, явно не желая быть свидетелем ругани, поспешил к Паулкину.

— Кому яблоки? — язвительно вопрошала бригадир, коренастая, с загорелым лицом женщина.

— Как кому? Первому! — нагло заявил Кирдяшкин.

— Где он, твой первый? — всплеснула руками бригадир. — Всему району известно, что твой первый сбежал. Он сейчас, наверно, в Москве бананы ошкуривает, ему теперь хмелёвские яблоки на дух не нужны. А ты у него врать научился? Мне яблок не жалко, но за то, что ты, Гошка, врёшь, не дам!

Кирдяшкин беспомощно оглянулся по сторонам, зло сплюнул и, сев в машину, ударил по газам. Ни Паулкин, ни Романов даже вида не подали, что они что-то видят или слышат, для них бегство Ивана Сергеевича не было тайной, для них он уже пере-

стал существовать, а о покойниках не принято говорить с осуждением — или хорошо, или ничего.

— Геннадий Иванович, — сказал Паулкин, — я ведь не только на пробу яблок явился, но и за вами.

— Кому я понадобился? — остро глянул Романов. — И зачем?

— Сам хочет с тобой потолковать.

Тем временем багажник «Волги» был распахан, и Паулкин, попробовав из разных мест яблоки, выбрал три ящичка и по-хозяйски расположил их между запасными колёсами, ведром и лопатой.

— Хорошо здесь, — улыбаясь, произнёс он. — Сейчас бы костерок возжечь, шашлычки организовать... Как, Геннадий Иванович?

— Я с удовольствием! — весело сказал Романов. — Только третьего надо. Может, стоняешь за Тимофеем Максимовичем? А я тем временем всё приготовлю.

— Лучше вы сами как хозяин его пригласите, — сказал, садясь в машину Паулкин. — Заодно и узнаете, о чём он хочет с вами поговорить.

Не прошло и получаса, как они приехали в райцентр, Паулкин высадил председельского возле райисполкома и отправился на автозаправку, а Романов достал из заднего кармана тонкую коробочку, вынул из неё бархотку, протёр запыленные полуботинки, отряхнул брюки и вошёл в госучреждение.

— Тимофей Максимович уже о вас спрашивал, — сказала стриженная под овечку молодая секретарша. — Проходите.

Романов мельком оглядел себя в зеркало, поправил галстук и открыл обшитую тускло отсвечивающей кожей дверь председательского кабинета, в котором сразу встретился взглядами с районным прокурором Звягиным, отчего почувствовал себя неуютно. «Он точно пронюхал о памятнике Ленину, — ожгла Романова торопливая догадка. — Но об этом должен был доложить участковый».

— Что остолбенел? — проворчал Кидяев и посмотрел на прокурора. — Сегодня все ходят как опущенные в воду из-за этого не разбери поймёшь, что творится в Москве. Проходи, Романов, садись напротив прокурора и докладывай, что там у тебя в Хмельёвке творится.

Председатель сельсовета присел на краешек кресла, сглотнул сухой комок в горле и виновато произнёс:

— Я, конечно, виноват, что не доложил о покушении на памятник Ленину, но с этим разбирался участковый.

— Что ещё за покушение? — вскинул брови Кидяев. — Тебе, Виктор Николаевич, что-нибудь об этом известно?

— Первый раз слышу, — пожал плечами прокурор. — Но я не усматриваю в этом ничего удивительного. Телевидение и газеты превратились в подстрекателей к мятежу, и в этом случае какой-то слабый на голову человек свихнулся и стал ломать памятник.

— Так оно и есть! — обрадовался прокурорской поддержке Романов. — Наш деревенский дурачок Федька Кукуев набросился на Ленина с топором, отрубил ему руку, нос...

— Он у вас теперь и стоит в таком виде? — строго сказал Кидяев.

— Я его в дровяной сарай положил, — виновато произнес Романов. — Кстати, этому происшествию есть свидетель — ваш райисполкомовский — Зуев, он как раз приехал посмотреть, кто там в церкви копошится. Тимофей Максимович, что делать с Лениным?

— Этот вопрос надо адресовать туда, — указал предрика на телевизор, показывающий «Лебединое озеро». — Балет закончится, и сразу станет ясно, что делать с вождем — оставить в дровяном сарае или срочно заказывать бронзовый памятник. Кстати, что там у тебя вокруг церкви творится?

Он нацепил на нос очки, взял ежедневник и стал его перелистывать.

— Шевыряется городской мужик. А как запретишь? От храма-то остались одни стены да кое-какая крыша. Доисторические руины.

— Руины? Но об этом потом. Ввожу в курс дела: вчера мне позвонил уполномоченный по религии, спрашивал, интересовался. К нему, понимаешь, обратились из епархии, что за самовольщички вокруг хмельёвской церкви шныряют. Чего они замыслили?

— Вроде мужик порядочный, — сказал Романов. — Всегда трезвый. А что у него на уме, как узнаешь?

— Ты хоть фамилию его знаешь?

— Слышал. Как его... Забыл, тут столько делов! Уборка, молоко, дрова учителям, в Доме культуры отопление не работает.

— Эх, Романов! Этот мужик — сын того Размахова, который закрывал хмельёвскую церковь.

— Вот оно как! — поразился председатель сельсовета. — И что он хочет?
— Не знаю, только это самовольство или, может, что другое, пусть скажет прокурор.

— Есть признаки самоуправства.

— Да, пока самоуправства, — вздохнул Кидяев. — А может, он сектант какой-нибудь? Может, он пакость наострился сделать, а мы ушами хлопаем? Надо бы этого Размахова привлечь к ответственности, как считаешь, Виктор Николаевич?

— Не только можно, но даже нужно, — сказал прокурор и достал из своего портфеля бланк.

— Что это у тебя? — спросил Кидяев.

— Повестка. Сейчас выпишу и отдам Романову.

— Интересно, — усмехнулся Тимофей Максимович. — Значит, ты с повестками ходишь.

— А что здесь удивительного? У меня здесь и бланки протоколов допроса.

— Значит, ты, Виктор Николаевич, вооружён и очень опасен! — рассмеялся Кидяев. — Но это я так, шутка! Но опасный вы народ, прокуроры. Ох, и опасный!

Звягину шутка председателя райисполкома пришлась не по вкусу. Он достал авторучку и спросил, строго блеснув стёклами очков:

— Продиктуйте установочные данные подозреваемого лица.

Кидяев заглянул в еженедельник:

— Размахов Сергей Матвеевич, больше ничего нет.

— Этого достаточно, — сказал прокурор. — А вы, товарищ Романов, до отъезда зайдите в прокуратуру. Вам нужно дать свидетельские показания следователю по этому делу.

Романов подрастерялся: следователь, показания, уголовное дело — неприятности.

— Может, надавить на него. То есть я скажу участковому...

Звягин вопросительно посмотрел на Кидяева. Тот на секунду задумался:

— Нет, этим его не напугаешь. Что твой участковый? Пусть прокурор занимается.

Звягин повестку Романову не отдал, сунул бланк в портфель и взял его в руку.

— Жду вас в прокуратуре. Можете подойти через часок, я за это время оформлю постановление о возбуждении дела, определимся, кто будет следователем. Я вам больше не нужен, Тимофей Максимович?

— Нет, а ты, Романов, останься, — Кидяев встал из-за стола, пожал прокурорскую ладонь и подошёл к окну, которое выходило на площадь. Рядом со зданием райисполкома находился райком партии, а напротив — памятник вождю. — Иди сюда, — позвал Романова. — Видишь, до чего дело дошло? Сначала в Москве, затем в городе, теперь и у нас. Дожили до светлого будущего, мать твою за ногу! — Кидяев открыл створку окна, и с улицы донеслось:

— Долой партийных бюрократов! Долой зажавшихся чиновников!

Напротив райкома партии суетилась кучка людей, они орали, размахивали руками, подступая всё ближе и ближе к крыльцу здания.

— Это что же творится, Тимофей Максимович? — сокрушённо спросил Романов.

— То, что партия приказала долго жить! — жёстко сказал Кидяев и захлопнул створку окна. — Нет больше руководящей и направляющей силы нашей эпохи!

— А как же мы? Советская власть?..

— И до нас дойдёт очередь, не всё сразу!.. Ты вот что... Уполномоченный по религии не один звонил. Кое-кому из КГБ хочется молодому Размахову соли на хвост насыпать. А это такие псы, что от них не отбиться. Они и при новой власти останутся.

— Ясно. А я что могу? — развёл руками Романов.

— У следователя по жесточе оценивай поступки Размахова. Ты имеешь право выражать мнение населения. Вот и вырази.

Уголовное дело прокурор поручил вести следователю Глазкову, цепкому молодому человеку с университетским значком на пиджаке. Кабинет был мал, на подоконнике и на стульях лежали папки с бумагами, Глазков усадил Романова так близко к себе, что тот сразу почувствовал терпкий запах одеколона, которым следователь щедро смочил свою хилую шевелюру.

— Начнём, пожалуй! — Глазков положил на стол чистый лист бумаги. — Напишите заявление на имя прокурора с изложением сути дела, — Романов вздохнул, поморщился и написал заявление. Глазков схватил его, прочитал и положил в папочку. — Так-с. Теперь мы вас допросим. Вот здесь распишитесь, что предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний...

Романов вышел из прокуратуры под вечер. Глазков до отупения измаял вопросами, просьбами вспомнить то, это, он уже начал подозревать, что не Размахов его интересует, а он сам — вспомнить в кармане у него лежала повестка. «Вот из меня уже посылного сделали, — подумал он. — И всё этот чудило виноват, далась ему эта церковь!»

По дороге домой Романов заехал в магазин, купил бутылку водки. Дома выставил её перед ужином на стол.

— Ты что это, отец, — удивилась жена, — праздник какой у тебя или нечаянная радость?

— Не всё же на радостях пить, — сказал Романов и налил себе и жене по полной рюмке. — После разговора со следователем в баню идти надо. Однако сегодня не банный день, посему давай, мать, остограммимся.

— 3 —

«Вот и хорошо, что я уехал из города, — подумал Размахов, выслушав по радио очередное невнятное сообщение о московских событиях. — Какое мне дело до тех, кто сходит с ума? И народу нет до этого дела: он пашет, сеет, жнёт и на перестройку глядит как на очередную кампанию по перетряхиванию страны, коих она за тысячу лет вынесла предостаточно».

Сергей выключил радио и, закурился, стал поглядывать по сторонам. Он уже ехал мимо полей хмелёвского колхоза. Уборка шла к концу, по стерне бродило стадо коров, пастух на понурой лошади узнал Размахова и помахал ему рукой. На последнем взгорке, поросшем молодым ельником, перед ним открывалась деревня, пересекавшая её узкая лента реки, просвечивающей между разросшихся тополей, школа и рядом с ней храм.

«А ведь там кто-то работает, — обрадовался Размахов. — Вон поднимают лист железа на крышу». На паперти стоял мальчишка и, придерживая рукой кепку, смотрел вверх.

— Давай тяни! — кричал он кому-то.

— Это кто тут без нас распоряжается?

Мальчишка оглянулся, и Размахов узнал в нём одного из добровольных помощников, что крутились возле него после уроков.

— Там дедушка Колпаков.

— Эй, Пётр Васильевич! — крикнул Размахов. — Встречай, пополнение прибыло!

С некоторым волнением он вошёл в храм и, остановившись, огляделся по сторонам. За несколько дней его отсутствия в храме ничего не изменилось, но в нём явно чувствовался живой дух, и, присмотревшись, Сергей увидел прикрепленные к стене три иконы, под ними находилась скамья, застланная вышитым полотенцем, и два подсвечника с огарками. «Стало быть, бывали тут без меня люди, — подумал Размахов. — Но работы ещё здесь невпроворот». Из двери, за которой начиналась лестница, показался бледный, но улыбающийся Колпаков.

— Что же вы делаете, Пётр Васильевич! — сокрушенно выговорил Размахов старику. — Разве можно в вашем возрасте работать на высоте!

— Я сегодня себя крепко чувствую, — оправдывался Колпаков. — Сын приехал, давление измерил, всё в норме.

Сергей махнул рукой:

— В норме. Вы точно неугомонный. Новости есть?

— Наш председатель сельсовета приходил, тебя спрашивал. Со стройки парень был. Они сегодня уезжают.

— Тогда я сразу к ним. У меня просьба: больше на крышу ни ногой!

— Хорошо, — пообещал старик. — Вот сяду здесь и возьмусь читать сынов пода-рок.

— Что это у вас?

— «Молитвослов».

— Любопытная книга, наверное, сборник молитв, — сказал Размахов. — Я скоро вернусь.

Строители действительно собрались уезжать. Они сидели вокруг стола возле вагончика и резались в карты. Рядом стояли мешки с вещами и инструментами.

— Это ты, Сергей? — удивился бригадир. — Я думал, какой-нибудь начальник катит на новом «уазике», чтобы мне втык сделать на прощание. Пойдём на склад. Кстати, вагончик заberi, он наш, — бригадир открыл дверь дощатого сарая и щёлкнул выключателем. — Бери всё!

В сарае были десяток мешков с цементом, ящик стекла, полупустой ящик с гвоздями, несколько лопат, мотки проволоки.

— Сколько возьмёшь?

— С тебя, Сергей, я бы ничего не взял, но ребят угостить надо. Давай на пять бутылок водяры и закусь! Учти, что кирпичи можешь тоже забирать!

Размахов достал деньги и отдал бригадиру.

— На следующий год опять сюда?

— Наверно, нет. На следующий год объект будет другой.

— Какой же?

— Ты что — не видишь? Кооператоры буром прут. Деньги хапают, особняки себе строят. Это и есть шабашка. Ты присмотришь, Серёга! Конечно, ты молодец, что божий храм старикам восстанавливаешь, но и вокруг поглядывай. Народ наживаться спешит.

Бригадир закрыл дверь сарая на большой висячий замок и ключ отдал Размахову. Мужики отложили в сторону карты и масляными глазами поглядывали на своего бугра, предчувствуя, что смогут сегодня не за свои деньги оттянуться по полной.

Размахов сел в «уазик» и завёл мотор.

— Вывози всё сегодня и вагончик заberi, — крикнул бригадир. — А то стырят!

Сергей проехал через мост и остановился в центре села, где вокруг большой заросшей полынным бурьяном площади находились несколько магазинов, здания правления колхоза и сельского совета. Имелась и столовая, рядом с ней стояли две грузовые машины и трактор-колёсник с тележкой, возле которого, сидя на корточках, курил тракторист.

— Бог в помощь, — сказал Сергей для завязки разговора.

— И тебя тем же самым по тому же месту, — ухмыльнулся мужик, и Размахов сразу угадал в нём бывалого шабашника.

— Подсоби кое-что перебросить от строителей к храму. Мешки с цементом, доски, кирпич — всё это можно перевезти в вагончике, и твоя тележка не понадобится.

— Ты часом не грабануть решил строителей? — лениво поинтересовался тракторист. — А ну как поймают они нас да ноги повыдёргивают?

— Я сейчас только срядился с бригадиром и рассчитался.

Сигаретный окурок уже начал жечь трактористу потрескавшиеся губы, он его сплюнул, утёр грязной пятерней подбородок и выдохнул:

— Двапузыря, — Размахов полез в карман заденьгами, но тракторист запротестовал:

— Расплачиваться потом, а то я не дождусь вечера. Мне сейчас надо за силосом ехать.

— Тебя ждать можно? — засомневался Размахов.

— Буду как штык через час возле вагончика.

Сергей посмотрел в сторону сельсовета, поколебался, но решил, что неприятное дело не стоит откладывать на потом, чтобы не мучить себя догадками. До властного крыльца было не больше ста шагов, но он уже сжился с машиной и подъехал к нему с большим шумом.

— Я в райисполкоме был, — сказал Романов с лёгкой усмешкой. — Там только о тебе и говорят. Зуев за тебя горой, до скандала дошло, дверью у Кидяева так хлопнул, что потолок осыпался. Ты мне скажи, тебе это надо?

— Я не пойму, кому я мешаю? Ничего не прошу, не требую. Всё делаю своими средствами и силами.

— Вот чудак! — Романов заскрипел креслом. — Ты здесь разбудил стариков, да и молодые в затылках чешут, раздумывают над твоими делами. Вот ты разворочил народ, а завтра — тебя Митькой звали! Уедешь в город, а мне и Кидяеву расхлёбывать то, что ты заварил.

— Никуда я не уеду!

— Не уедешь? — Романов раскрыл кожаную папку и достал из неё листок бумаги. — Вот держи!

— Что это?

— Повестка. И не куда-нибудь, а в прокуратуру! — Романов многозначительно поднял указательный палец. — Так что неприятности у тебя уже начались, — Размахов взял повестку, свернул пополам и сунул в карман. — Меня, между прочим, по твоему делу допросили, — скривился Романов. — У меня передовой в масштабе области по всем показателям сельсовет, я пятнадцать лет на этом месте, но не посмотрели, заставили исповедаться, пока как свидетеля. А у тебя что в повестке написано?

— Свидетель.

— Вот-вот, пока свидетель. Затем так это плавно — подозреваемый, потом — обвиняемый, потом — арестант!

— В чём же меня можно обвинить! — возмущённо сказал Размахов. — Я ремонтирую здание разрушенной церкви, по сути дела, руины! В чём же здесь преступление?

— Ты вроде взрослый и образованный мужик, а не знаешь своей вины? — ядовито произнёс Романов. — Чьи это, как ты говоришь, руины, кому принадлежат? Государству! Вот, к примеру, набрёл бы ты в поле на сломанный трактор, стал без спросу его ремонтировать, а кто тебя об этом просил? Запорол бы движок, ты же не тракторист и не слесарь, тогда держи ответ за умышленную порчу госимущества. Ты говоришь — руины. А ты прораб? Может, архитектор? Завтра после твоего ремонта церковь рухнет, школа рядом, чувствуешь, на сколько это потянет? Ты занялся самоуправством и захватом госсобственности, это тебе в прокуратуре объяснят!

Размахова такой поворот событий неприятно поразил. Он, начиная ремонт церкви, совсем не думал о последствиях, ему казалось, что всё будет просто и понятно, он не искал и не хотел сложностей, но они вывернулись вроде ниоткуда, и похоже, это только начало.

— Это всё?

— Разве мало? Ехал бы ты, Размахов, туда, откуда приехал, прямо сегодня. Завтра может быть поздно. И заметь, я говорю это тебе от чистого сердца. Если я тебя не убедил, то спорь со следователем. Повестку я тебе вручил, и нам больше калякать не о чём.

Колпаков продолжал сидеть на бревне и перелистывал, шевеля губами, «Молитвослов». Завидев Размахова, поднялся и поспешил навстречу.

— Зачем Романов вызывал?

— Повестку вручил к следователю в прокуратуру. Кажется, меня хотят привлечь по статье за самоуправство.

— Тоже мне, нашли преступника! — возмутился Колпаков. — Сейчас по Москве не меньше миллиона преступников разгуливают, для них закон не писан, как же — демократы! Выходит, Сергей Матвеевич, ты много опаснее тех, кто хочет разрушить Союз.

— Утро вечера мудренее: завтра разберусь, в чём меня обвиняют, — сказал Размахов. — Но нам, Пётр Васильевич, повезло со стройматериалами, строители даже вагончик оставили. Вечером перевезу всё это к храму.

— У тебя, парень, на доброе дело лёгкая рука, но против власти, даже такой трухлявой, как нынешняя, тебе одному не выстоять.

— Что же мне делать? — задумчиво произнёс Размахов. — И так нехорошо, и этак негоже. Впрочем, сам я решать ничего не буду, завтра узнаю мнение прокуратуры.

— Разве у прокурора есть мнение? — усмехнулся Колпаков. — У него одно для таких, как мы, припасено — статья.

Они замолчали, задумавшись каждый о своем. До Размахова начинало понемногу доходить, что его затея вернуть храм людям, пострадавшим от отца, может закончиться, не успев начаться. Колпаков безмерно удивлялся тому, что люди не учатся на своих ошибках: казалось бы, совсем недавно, всего шестьдесят лет назад, народ преобильно обжёгся о колхозное счастье с его казарменной уравниловкой и безбожием, но, поди ж ты, опять восхотел осчастливиться и забурлил на улицах столицы, не догадываясь, что его не освобождают, а запрягают в перестроечные сани, в которых развалился пьяный, как зюзя, всенародно избранный президент Ельцин.

По дороге, подняв клубы пыли, проехала грузовая машина с будкой, и Колпаков посмотрел ей вслед.

— Кажись, продуктовая? Это сколько же сейчас времени? — спохватился старик. — Я свои часы уже лет пятьдесят как на рояле забыл, — часы были в «уазике», и Размахов, открыв дверцу, посмотрел, сколько времени, и сообщил Колпакову. — Надо идти, пока продавщица конфеты кому другому не продала. Правнук выиграл у меня кило шоколадных конфет в шашки, и пришлось просить Верку, чтобы привезла с базы посвежее. А ты, парень, о прокуратуре не беспокойся. Я сегодня же пойду собирать подписи в твою защиту.

Проводив взглядом старика, бойко засеменившего через сад по тропке к продуктовому магазину, Размахов вошёл в храм, собрал со своего лежбища подстилки и вынес их на просушку. Прошлая ночь была дождливой, всё отсырело и попахивало плесенью.

— Сергей! — окликнул его из остановившейся на дороге машины бригадир строителей. — Мы уезжаем. А ты за своим добром присматривай, а то там, возле сарая, какой-то дядька прохаживается. Я его предупредил, но ты и сам поглядывай.

Предупреждение бригадира было своевременным, и когда Размахов подъехал к сараю, то возле его двери застал мужика, а рядом стояла двухколёсная тачка с вместительным коробом.

— Хватит в замке ковыряться, а то испортишь, — сказал, выходя из машины, Размахов. — Я строителям заплатил за всё, что находится в сарае, и за вагончик.

— Докажи, что это твоё! — ощерился мужик. — Я тоже им заплатил за всё.

— Нет, дядя, ты жулик, — спокойно сказал Сергей. — У меня есть ключ от замка, а ты в нём ржавым гвоздём ковыряешься.

Мужик смерил Сергея взглядом, понял, что с приездом ему не совладать, и выругался. Затем подхватил тачку и, продолжая разбрызгивать матерки, потащил её прочь. Возле дороги он остановился и погрозил кулаком: «Я тебе это попомню!»

Сергей похвалил себя за то, что приехал вовремя, и, открыв дверь сарая, стал переносить всё, что в нём находилось, в вагончик, который оказался изнутри вполне пригодным для жилья — с железной печкой и лежаком для ночного отдыха. Размахов

работал не спеша и закончил погрузку, когда уже к нему, подпрыгивая на кочковатой дороге, подъезжал трактор.

— Готов? — высунувшись из кабины, крикнул тракторист и стал сдавать задом к вагончику.

— Ты не гони, — попросил Размахов. — Мне вагончик нужен целым.

— Будь спок! — заявил водила. — Доставлю в лучшем виде.

К вечеру возле магазинов сталолюднее, перевозка вагончика вызвала у всех интерес, и когда Размахов подъехал к храму, его встретил целившийся в трактор палкой Федька Кукуев.

— Бах! Бах! — завопил дурак. — Долой танки! Дорогу демократии!

Сергей глядел на калеку с тягостным чувством: он всегда впадал в растерянность и не знал, что делать, когда видел перед собой сумасшедших, потому что ощущал исходящую от них душевную темноту, в которой эти несчастные были вынуждены пребывать без надежды на просветление. Размахова выручила пожилая женщина, которая подбежала к Федьке, вырвала из рук палку и зашвырнула её за вагончик.

— Пойдём, Феденька, я корову подоила, ты ведь парное молочко любишь? Пойдём, сынок...

— Беда с нашим придурком, — сказал тракторист. — Что по телику увидит, то тотчас изображать возьмётся. В Москву танки ввели, вот и он в Хмельёвке их увидел. Беда — жить с таким! — Сергей рассчитался за перевозку вагончика, и тракторист поинтересовался: — Сам-то будешь? А то я мигом пузырь организую.

— Спасибо, но мне некогда, — отказался Сергей. — А ты расслабляйся, только трактор не потеряй.

— За это будь спок! — крикнул тракторист и так прибавил газу, что колесник не покатился, а запрыгал прочь от вагончика.

Сергей убедился, что мешки с цементом не рассыпались, подобрал с пола лопаты и поставил их в угол, вынес из вагончика доски и сложил их пирамидкой, чтобы сохли на ветру. Затем вошёл в храм и поднялся на крышу, чтобы прикинуть, много ли осталось на ней прорех, которые следует залатать в первую очередь.

Вечером небо очистилось от облаков и стало ближе к земле от наползавшей на него блёклой синевы — предвестницы близких сумерек. Нежаркое солнце реяло над горизонтом, то соприкасаясь с ним, то чуть отстраняясь, и от этого пульсирования оно выглядело не круглым, а слегка растянутым, и от него в разные стороны по краю земли растекались зыбкие багрово-сизые полосы.

Молодой сытый голубь, посвёркивая вспыхивающим при каждом его шаге горловым опереньем, заворковал возле Сергея и стал к нему бесстрашно тесниться и топорщить правое крыло, совсем рядом на расстоянии вытянутой руки. Размахов протянул к нему раскрытую ладонь, и тот не отпрянул в сторону, а, взмахнув крыльями, взлетел и опустился на запястье.

— Да ты ручной! — удивился Сергей. — От дома отбился, что ли? Ну, лети!

Однако подброшенный голубь не улетел и оставался рядом с Размаховым, пока тот не спустился с крыши. На паперти Сергея поджидала Анна Степановна.

— Не побрезгуй, милый, угостись свежей картошкой с грибами, — сказала старуха. — Всё готово, а дом ты мой знаешь, он совсем рядом.

Отказываться было бессмысленно, и Сергей, закрыв вагончик и заперев машину, пошёл следом за Анной Степановной к бревенчатой избе, которая стояла на углу проулка и проезжей улицы.

— Я слышала, ты отца похоронил. Конечно, большое горе, но все там будем.

Старый пёс обнюхал ноги гостя и упал в пыль возле крыльца.

— Он такой дряхлый, — хихикнула старуха, — что я его считаю своим ровесником.

Изба была в три окна, в ней треть места занимала русская печь, остальное пространство делилось на горницу и спальню. Анна Степановна посадила гостя в передний угол под божницу, Размахов огляделся и удивился, увидев на противоположной стене в раме под стеклом портрет Сталина, где он был изображен раскуривающим трубку. Анна Степановна наполнила две гранёные рюмки водкой, наложила в тарелки картошки, выставила грибы и отстранённо вымолвила:

— Ты Сталину удивился? А он у меня после бога на первом месте. Если бы не он, то ни я, ни мои дети не дожили бы до сего дня, — Размахов предпочёл промолчать и потянулся к рюмке. — Давай, милый, выпьем за Иосифа Виссарионовича. Пора бы ему встать из гроба и навести в стране порядок.

— Каким образом? — не сдержался Размахов. — С тем, что сегодня в Москве творится, и десять Сталиных не совладают.

— И одного хватит, — сказала Анна Степановна, — только чтобы настоящий был. Он знал, как наводить порядок. Сейчас все, кому не лень, смешивают его с грязью. Мокроштаный Ельцин и плевка сталинского не стоит, а народ будто сдурел и ничего

не видит.

— Почему же он мокроштаный? — усмехнулся Размахов.

— В какой-то ручей пьяный с моста сверзился, по радио говорили. Разве Сталин так страной правил?

— 4 —

За несколько лет до начала Отечественной войны Анна Степановна окончила учительский институт, активничала в комсомоле, и когда её направили в сельскую школу, подходящего для себя жениха она увидела в шофёре единственной на всю МТС полуторке Косте Желтухине. В те времена шофёр был видной фигурой в селе, а запах бензина воспринимался как один из признаков культурного и образованного человека.

Костя носил хромовые сапоги, кожаные галифе, крепко пахнул бензином и кожей, красиво щёлкал портсигаром и имел на одном верхнем зубе вспыхивавшую при улыбке стальную фиксу. Он привык брать девок по-ястребиному — с налёта, но Анна Степановна была образованной городской штучкой, и шофёру пришлось подруливаться на своей полуторке к сельсовету, где председатель крепко пожал молодым руки и, дохнув на чернильную резинку, шлёпнул на документ гербовую печать.

За пять предвоенных лет Анна Степановна принесла пятерых детей: четырёх девочек и последыша — Валентина. Жила с мужем, не бедовала, но во второй год войны его призвали. Летом сорок второго ещё кое-как перебивалась, а зимой стала доходить: ни дров дома, ни хлеба — ни мучинки. Соседи, кто попровористей, всё картошкой засадили, а она пронадеялась на своего Костю, а того вместе с полуторкой угнали на фронт; и через три месяца — похоронка.

Отплакалась, оглянулась по сторонам — никого! Только русское вьюжное поле да утонувшее под самые крыши село. Пошла в дом, где на берёзовой палке вылинявший кумач посвистывал под порывами ветра. Председатель колхоза — злой, одноногий, только что из фронтового госпиталя, вместо костыля дрючок под мышкой, на лице мгилая бледность — что-то орал в телефонную трубку.

— Чего тебе, учителька?

Анна Степановна попросила дров для школы, хлеба семье, дров.

— Чо, у тебя нет и картохи?

— Нет, — потупилась она.

— И в колхозе нет. Ничего нет. Даже мыши из амбаров разбежались. Вот такая обстановка на ближайший год. Картохи я тебе своей мешок дам, да только надолго ли хватит? — председатель сел за стол и обхватил голову руками. — Как пить дать — скапутишься ты! Есть, конечно, выход, но я тебя не учу, а так, просто случай рассказываю. Бабу одну, вроде как тебя, голодуха припёрла, она и отбила телеграмму самому. Кумекаешь, кому?.. А теперь топай, мне с районом покалякать надо.

Подсказку председателя Анна Степановна усвоила сразу, но решила не вдруг. «Конечно, он добрый, он поможет, но у него столько дел!» — думала она, глядя на картинку в учебнике, где Сталин сидел на садовой скамейке рядом с Лениным — такой доступный и родной, что её прошибал волнующий озноб.

Пометавшись в сомнениях два дня, Анна Степановна пошла на железнодорожную станцию. Все восемь километров удерживала себя от желания повернуться и идти обратно. Но домой идти было нельзя. Картошка из председателяева мешка ополовинилась, новой ждать было неоткуда. Так и дошла до самой станции, докатилась, как перекасти-поле, пока не уткнулась в длинное бревенчатое здание, вокруг которого сновали люди, всё больше военные, звенели котелками, шумели и спали вповалку на вокзальном полу, обхватив для сохранности вещмешки и сидоры руками.

Взяла Анна Степановна телеграфный бланк в почтовом окошке и протиснулась к подоконнику, где стояла чернильница с ручкой. Задумалась, что писать. С другой стороны окна все зашумели, кинулись на приступ прибывшего поезда. К окну напротив неё прилип чумазый беспризорник, выпучил глаза и побежал дальше, подбрасывая пятки к ягодицам. Толпа штурмовала поезд по всем правилам: вещи толкали впереди себя, наиболее прыткие лезли в окна.

«Дорогой Иосиф Виссарионович! — вздохнув, выскребла Анна Степановна на жёлтой бумаге. — Я, красноармейка, мать пятерых малолетних детей, не имею средств к существованию. Помогите, дорогой товарищ Сталин!»

Расплатившись за телеграмму, Анна Степановна вышла на привокзальную площадь, где кипела небольшая, но горластая толкучка. У неё за пазухой лежал кашемировый платок, полученный в подарок от райобразы в сороковом году.

— Погрейся, тётка! — крикнул безногий инвалид с магнето, прикрученным к табуретке. — Вали червонец — хватай за оба провода, как крутану — весь день будешь горячей!

— Васильев, ты? — изумлённо вскрикнула Анна Степановна, с трудом узнавая в рыночном старожиле своего однокурсника. — Боже мой!

— Что, Анечка? Видишь, как ополовинило? В школу не пойдёшь. Вот и зарабатываю на знаниях электротехники. А ты как?

— Костю убили. Одна теперь.

— У тебя сколько ребятишек?

— Пятеро.

— А ты чего хотела?

— Да вот платок продать.

— Понятно. Посторожи технику.

Васильев засунул платок за пазуху и, упираясь деревяшками в снег, укатил за ларьки. Вернулся он быстро с большим караваем домашнего хлеба.

— Ну, бывай! Вот возьми пацанам, — Васильев сыпанул ей пригоршню колотого сахара. — Приходи, если прижмёт, что-нибудь придумаем.

Домой Анна Степановна почти всю дорогу бежала. Ей почему-то показалось, что она забыла приоткрыть печную задвижку, и теперь думала, что дети угорели. Открыла дверь и задохнулась от радости — все живы. Старшая Шуручка читает по складам сказку, а остальные лежат на кровати и слушают.

Всю ночь она не спала, прислушивалась к вою ветра в печной трубе, скрипам старой берёзы под окном и думала о том, как дойдёт её телеграмма до Москвы, попадёт к нему. Был ещё и страх, что её накажут, но она отметала его, поглядывая на сопящую во сне детвору. Она и так наказана, большим её наказать нельзя. Ребятишки спали, сегодня они поели досыта, умяли полкаравая и чугунок картошки.

Эхо от её телеграммы в Москву добежало до села быстро — к обеду следующего дня. В школу прибежала местная почтарка и принесла Желтухиной телеграмму. Дрожащими руками она вскрыла её и прочитала: «Уважаемая Анна Степановна! Местным властям отданы указания обеспечить вас и ваших детей всем необходимым. Сталин».

Она разрыдалась. Прочитал телеграмму и другой учитель, он же директор, Рыбаков. Покрутил головой и ушёл в класс. Желтухина перечитывала и перечитывала строчки телеграммы и никак не могла прийти в себя, у неё защемило в груди, и первый раз в своей жизни она почувствовала, с какой стороны находится сердце.

Вечером возле её дома остановился зелёный военный грузовик. Приехавших было двое. Шофёр сносил в избу продукты: ящик тушёнки, половинку бараньей тушки, два мешка муки, сахар, соль, спички, мыло, отрез на платье, валенки детского размера, платьица и костюмчик для Валентина. Второй приезжий был одет в бекешу, из-под которой выглядывал полувоенного покроя китель. Он тяжёлым взглядом оглядел избу, пересчитал вещи, продукты и протянул хозяйке карандаш:

— Распишись! — сложив бумагу в планшетку, твёрдым немигающим взглядом посмотрел на смиренно стоящую перед ним учительницу и сквозь зубы проговорил: — Чтоб такие штучки в последний раз! Я тебе покажу, как разлагать тыл. Рот — на замок! Никому ни слова! Ещё что-нибудь выкинешь — пойдёшь под трибунал! Ясно?

Анна Степановна судорожно пожала плечами. Человек в бекеше понял её подавленное состояние, он слишком часто окунал людей в горе, чтобы не понимать их, поднялся с табуретки и сказал с ухмылкой:

— Пользуйся! А слова мои не забывай.

Спрятала она телеграмму на дно сундука и никому о ней не говорила.

До председателя колхоза дошёл, конечно, шум вокруг учительницы, он оценил её молчание и на следующую весну дал ей семян и лошадь с сохой, чтобы она посадила картошку. Он же определил к ней на постой и эвакуированную женщину с зингеровской швейной машинкой. Мало-помалу Анна Степановна научилась шить платье-шестиклинка, кофточки, кое-какие ребячьи штаны, тем и жила после войны, когда постоялица уехала и оставила ей машинку.

В день смерти Сталина она рыдала, как малое дитя, чуть ли не в истерике билась, ей казалось, что само небо над ней дрогнуло, земля покачнулась, и весь мир поехал в тартарары. Достала телеграмму из укладки, целовала её, обливая слезами, а на следующий день выступила на траурном митинге в школе, потом на сельском сходе. Её повезли в район, она и там говорила о том, как великий вождь помог ей, забитой деревенской учительнице, выжить.

После траурного митинга в райцентре к ней подошёл человек в бекеше и сказал, протянув мягкую пухлую руку:

— Молодец, Желтухина! Ты — человек правильных советских кровей!

Анна Степановна взглянула на бекешу, вспомнила зимний декабрьский вечер сорок второго года и поёжилась. Ей отчего-то стало зябко в натопленном здании районного клуба и захотелось в деревню, к ребятишкам.

В райцентре её заметили. Вскоре Желтухину выдвинули депутатом райсовета, а в школе — ребятни после войны попёрло — назначили завучем. Шить она бросила, много заседала, выступала на всех уровнях, разоблачая Берию и прочих деятелей, кто охмурил великого, но простодушного вождя.

В этой колготке пролетели два года, и в пятьдесят шестом Анну Степановну обдуло двумя сквозняками, от которых она как-то внутренне пожухла и сникла. Первым был двадцатый съезд. То, что она читала в газетах, слышала в разговорах, казалось ей сумасшедшим бредом, но никто не одёргивал болтунов, не хватал их за руки. Не в силах спорить с ниспровергателями Сталина, Желтухина замкнулась в себе, телеграмму спрятала подальше и перестала читать газеты.

Дочери не затрагивали больной для матери вопрос, они уже вовсю невестились, ходили на вечерки, собирались в город и переписывали друг у друга в тетрадки всякие афоризмы: «Любовь — это костёр. Если не подбрасывать в него палки, то он потухнет».

Валюшка был понастырнее. Ему мать рассказала всю историю с телеграммой без утайки. После этого сын сколотил рамочку и повесил портрет Сталина в горнице. Усатый добродушного вида человек с весёлой искрой в глазах смотрел на каждого, кто бы ни входил в дом. Валюшку особенно удивляло, что эти глаза находили его всюду, где бы он ни был в горнице. Он и в угол к печке вставал, и к другому углу подходил, и всюду на него был обращён взгляд вождя. Валюшка спросил об этом дядю Кузьму, соседа. Тот был серьёзного мыслительного склада мужик, то есть был себе на уме и постоянно нёс какую-нибудь околесицу, чтобы сбить собеседника с толку. И в этом случае Кузьма был верен себе.

— Ты подумай, Валюшка, — вождь! Этому нужно видеть там, там, там! А кому доверишься? Только сам. Поэтому и учатся они гипнозу, чтобы насквозь видеть, и смотрят даже на портретах, что куда ни беги, а он тебя всего видит — и наружность, и внутренность.

— А ты видел, дядь Кузьма, гипнотизёра?

— Брехать не буду, видел. Был у нас в полку такой. Потом его шлепнули. Так он такой гипноз показывал! Выкуривал целую пачку папирос, и дыма не было, а потом скидывал штаны, поворачивался к публике и весь папиросный дым выпускал одним залпом. А вот пулю не загипнотизировал, шлёпнули его, перед всем полком. На гастроли самовольно поехал, неделю не было, его прямо со сцены взяли. Трибунал и прочее.

Весной пятьдесят шестого Анна Степановна получила письмо. Адресовано ей, а откуда — не понять, какие-то буквы, цифры. Писал муж. Осторожно спрашивал, не забыла ли его, что он жив, пишет с крайнего и дальнего севера, просил не отвечать и обещал скоро быть.

Волнение, которое Анна Степановна испытала по прочтении письма, её подкосило, она заболела нервной горячкой, бредила, кричала, кидалась на стены, беспрестанно плакала. В больнице от неё отказались, но старухи помогли, травами отпоили свою учительку, которая истаяла, ровно свеча.

Почему Костя не писал больше тринадцати лет, Желтухина не знала, но догадалась, что письмо это из лагеря. Сходила к соседке, попросила раскинуть карты. Под сердцем бубнового короля выпала любовь, торопливость к дому, а по бокам всё казённые дома да неприятности.

Желтухин приехал поздно осенью, уже картошку выкопали, иней легли на отаву, в лужицах мороз выпил всю воду. Как раз под первый снег на Покров приехал — худущий, кожа да кости, но в хромовом пальто, полный рот золотых зубов, на голове кепочка-восьмиклинка с малюсеньким козырьком, что пальцами трудно уцепить.

Собака его в дом не пустила, не знала хозяина, без него уже брали. Вышла хозяйка на улицу, глядит, а у прясла Костя. Ноги подкосились, не помнит, как на шею бросилась, девчонки, Валюшка забегали вокруг, чемодан отцовский требушат с подарками.

Праздничный обед Анна Степановна накрыла в горнице. Муж вымыл руки, ополоснул, постучав зубами, рот и, склонившись, прошёл к столу. Было полутемно. Зажгли керосиновую лампу над столом. Костя огляделся по сторонам, и вдруг его взгляд упал на портрет.

— А этот гад что тут делает? — силно выдохнул он.

Все молчали, с испугом глядя на впавшего в бешенство отца. Желтухин сорвал портрет со стены, хрястнул им о подоконник и швырнул на пол. Валюшка очумело смотрел на отца, а тот сел на венский стул, заскрипевший под его тяжестью, налил себе полстакана водки, выпил залпом и сказал, глядя в стол:

— Для всеобщей ясности — я из-за этого гада десять лет на Колыме отмотал. Выброси его, Валька, в помойное ведро!

Желтухин пошёл в колхоз шоферить, но пить стал крепко, иногда вываливался, как куль, из «ЗИСа» возле дома. По пьянке он много говорил, всё о том, как в плен влетел на своей полуторке, как в концлагере загибался, как у бауэра вместе со свиньями

спал. Доходя в рассказе до того часа, как его освободили наши войска, он деревенел и наливался тоскливой злобой.

— Я-то, дурак, думал, что меня домой отправят, а меня перед тройкой поставили. Четвертак впяли — и ни одного вопроса. Просто уточнили фамилию — и четвертак. А я что? Армией командовал, фронтом? Я под Харьковым десять армий сдал да две под Керчью? Моё дело — баранку крутить! Такими, как я, путь танкам мостили. Мне хана, Валюшка! Дорогой товарищ Сталин — на кого ты нас оставил!

Он засыпал, где сидел, и Валюшка тащил его на кровать, снимал сапоги, раздевал, укрывал одеялом.

Трезвый Костя был молчалив, только раз вырвалось у него:

— Обокрали меня, сын, обокрали...

— Кто? — не понял Валюшка.

— Они у меня жизнь украли, испоганили её, — и мотнул головой по направлению к потолку.

На телеграмму Желтухин глянул с интересом, как на диковинку, плюнул под ноги и растёр плевков подошвой кирзового сапога.

— Ну прямо «Сказание о земле Сибирской»...

— 5 —

— Уже поздно, — сказал Зуев. — А потом, что мы у тебя будем делать?

— Как что? Пить чай. У меня есть новые записи.

Зуев облизал враз пересохшие губы, полез в карман за сигаретами и, отвернувшись от ветра, закурил. Галя тихо засмеялась и потянула его за рукав.

— Ты, наверно, думаешь, вот прилипла. А я давно к тебе, Родя, прилипла, только ты этого не знал. Ведь не знал?

— Не знал. Это так неожиданно.

— Тогда я правильно поступила, правильно?

— Не знаю, — растерянно произнёс Родион. — Это так неожиданно.

— Значит, Варвара Ильинична правду мне говорила: ребёнок ты, Родя, большой ребенок!

— Какой я ребёнок, — смутился Зуев. — У меня невеста была. Собирались пожениться. А тут такое со мной случилось.

— Неправда всё это. Она ещё до твоего ранения перестала тебе писать. Я всё знаю. Зуев бросил окурок и обиженно произнёс:

— Всё-то ты знаешь. Ну, я пойду?

Галя обхватила Зуева руками за шею и всем телом потянулась к нему. И Зуев обмяк, позволил себя поцеловать, а потом не отпустил её от себя сам. Они целовались долго и безостановочно. Проехавшая мимо машина окатила их светом фар, из неё раздался громкий смех, но они его не слышали, как и лая собачонки, которую оттащил от них хозяин. Зуев опамятовался первым.

— Что же теперь нам делать?

— Не надо ничего делать, — сказала Галя. — Я тебя не тороплю жениться на мне. Переезжай в город, поживём вместе, а там всё как-то решится.

— Я не против, только вот с работой как? Образования у меня гражданского нет, разве что в школу пойти, если возьмут.

— Не думай об этом, — Галя ласково погладила его по щеке. — У меня есть для тебя, вернее, для нас работа. Ты слышал о кооперативах?

— Читал в газете.

— Вот и мы создадим кооператив, — в её голосе зазвучали деловые нотки. — Ателье по пошиву модной одежды. Я уже кое-что сделала. Купила пять электрических швейных машинок, дефицит страшный! Присмотрела помещение в центре города, надо взять его в аренду. Клиентура у меня есть, пойдут и заказчики с улицы. Знаешь, как мне надоело прятаться? До последнего времени всё боялась, что придут и оштрафуют за незаконное индивидуальное предпринимательство.

— А я что буду делать?

— Как что? — засмеялась Галя. — Будешь директором, хозяином. Работы хватит. Не люблю я по чиновничьим инстанциям ходить, куда ни зайдёшь, обшарят всю взглядами... Вот ты и будешь ходить.

Зуев был так сильно ошарашен бурным натиском, что чуть не забыл спросить о самом главном.

— Послушай, Галя, мы говорим о таких серьёзных вещах, а как твой сын, что он скажет, увидев в доме чужого дядю?

— Он ещё мал, всего три года. А что, тебя он смущает?

— Если сказать честно, то да, — помедлив, ответил Зуев. — Мне нужно время, чтобы привыкнуть.

На глазах у Гали блеснули слёзы, вызвавшие у Зуева прилив нежности и жалости к молодой и по-своему несчастной женщине. Эти два чувства, соединённые вместе, способны обезволить любого мужчину, и Зуев, не замечая, что с ним происходит, обнял Галю и горячо прошептал:

— Не переживай, всё будет хорошо!

Пригородный поезд в райцентр уходил рано утром. Распростившись с Варварой Ильиничной, Зуев первым автобусом приехал на вокзал и успел вскочить в электричку, когда она уже тронулась с перрона. За ночь вагон выстыл, по оконному стеклу сочилась влага, в открытые двери из тамбура тянуло запахом креозота, которым были пропитаны шпалы. Вскоре вокзал остался позади. Зуев, откинувшись на спинку лавки, запахнул поплотнее куртку и закрыл глаза.

От бессонной ночи побаливала голова. Вчера, простившись с Галей, он вернулся в квартиру тети потрясённый случившимся и долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок, а в голове калейдоскопом мелькало одно и то же: её лицо, освещенное светом уличного фонаря, подрагивающие губы и слезинки на щеках. И Зуев опять шептал ей на ухо: «Не переживай, всё будет хорошо!» И в электричке продолжалось то же самое, только он закрывал глаза, намереваясь если не заснуть, то хотя бы подремать.

Зуев за свою недолгую жизнь влюблялся, как ему казалось, дважды, и каждый раз ему не везло. В девятом классе он вдруг совсем неожиданно обнаружил, что его одноклассница Люба Кулишкина не такая, как остальные девчонки, потому что в её присутствии Родиона стало бросать то в жар, то в холод, а если Люба заговаривала с ним, то он начинал краснеть и бледнеть и в ответ сконфуженно мямлил. Люба быстро почувствовала равнодушное отношение к себе, и это ей нравилось. Она поделилась своим открытием с подружками, те стали над ним посмеиваться, он вспыхивал и говорил грубости. Люба между тем отдала предпочтение другому мальчику, у неё с ним, как тогда говорили, началась любовь, и Зуев перенёс такое сильное потрясение и разочарование, что несколько лет и не помышлял о знакомстве с какой-нибудь девушкой.

Учёба в военном училище почти не оставляла курсантам времени для личной жизни. Всё было подчинено уставу и внутреннему распорядку. Изредка по большим праздникам курсантов приглашали на танцевальные вечера в пединститут и медицинское училище. Они были желанными гостями — студентки часто находили среди курсантов своих будущих мужей, и спрос на военных был большой. На одном из таких вечеров обычно простаивавшего всё время у стены Зуева пригласила на белый танец стройная большеглазая студентка пединститута и не отошла от него, когда вальс закончился.

— Ты на пятом курсе? — спросила она.

— Да. А как ты узнала?

— Все девчонки в городе умеют считать курсантские нашивки. Между прочим, меня зовут Надя.

— Родион, — представился он и довольно ловко щёлкнул каблуками сапог, которыми очень гордился. Рота Зуева участвовала на параде в военном округе, и там все курсанты научились гладить утюгом голенища сапог, отчего они лаково блестели и были абсолютно гладкими.

Они станцевали несколько раз, увлеклись разговорами, и тут, как всегда неожиданно, раздалась команда: «Вторая рота на выход!» В зале всё сразу смешалось: курсанты ринулись в гардероб, девушки поспешили за ними. Зуев, схватив шинель, поискал Надю глазами, но вокруг была такая толчея, что найти её он не смог. По дороге в училище Родион пожалел, что не спросил у девушки адрес.

Надя не исчезла, через несколько дней один из сослуживцев передал Зуеву от неё привет, сказав, что она подружка его невесты. Вместе с приветом он получил адрес и номер телефона.

Зуев позвонил, Надя обрадовалась его звонку, и в ближайшее воскресенье они пошли в кино. Ни в эту, ни в следующие встречи он не сделал ни одной попытки приблизиться к девушке на расстояние дыхания, и это ей нравилось. Надя, и это обнаружилось сразу, имела на Зуева серьёзные виды. Пригласила его домой, познакомила с родителями, которым будущий офицер понравился своей сдержанностью и предупредительным отношением к их дочери.

Надя училась на третьем курсе филологического факультета, а Родион должен был в этом году уехать, получив офицерское звание, к месту службы. Когда выяснилось, что ему предстоит ехать в Монголию, брезжившая невдалеке свадьба была отложена, хотя взаимные чувства у молодых людей были нешуточными.

Через год Зуев из Монголии был переведён в Афганистан, причём так спешно, что успел заехать к невесте всего на несколько дней. Вроде бы ничего в их отношениях не изменилось, расстались они в надежде, что через год состоится их свадьба, но

длившаяся уже второй год любовь по переписке начала давать сбои. Зуев отвечал на каждое письмо Нади, а та стала отвечать ему реже, её письма становились суше, у будущего преподавателя русского языка исчезли из лексикона ласкательные прилагательные. Последнее письмо от Нади Зуев получил незадолго до ранения.

Он болезненно переживал случившееся, но довольно скоро успокоился, потому что в отношениях между ними главное место занимали не поступки, а слова, которые от частого употребления стираются, как подметки. К счастью, между ними не было интимной близости, которая, будучи недолгой, всегда оставляет чувство неудовлетворённости у мужчины и может заставить его выдумать любовь из ничего и нагромоздить столько глупостей, что ему придётся расплачиваться за это всю свою жизнь. Между Родионом и Надей были отношения, которые могли закончиться счастливым браком, но этого не случилось.

Галя разобралась в характере Зуева очень быстро и поняла, что привязать его к себе она может только тем, чем наградила её природа. Зуев, пожалуй, в первый раз в жизни по-настоящему целовался с женщиной, чувствуя, как вибрирует её молодое горячее тело, и сам вибрировал, будто на него упал оголённый электрический провод. Галины слёзы его потрясли, он решил, что должен спасти эту восхитительную в своём несчастье молодую женщину и, совсем не думая о последствиях, горячо прошептал жалкие слова: «Не переживай, всё будет хорошо!» И это были не просто слова, неизвестно, поверила ли им Галя, но сам Зуев верил сказанному без всяких сомнений и отступить от своего решения не собирался.

Электричка с частыми остановками довезла его до райцентра через четыре часа. Родион через здание вокзала вышел на привокзальную площадь, самое бойкое и людное место городка. Окинув её взглядом, он обратил внимание, что возле редакции собралась небольшая толпа, и к ней с крыльца обращается с речью местный антибюрократ и гроза райкома партии Смирнов, примечательная зигзагами своей судьбы личность, получивший в последнее время в райцентре громкую известность организацией сходок, митингов и выступлений в поддержку перестройки.

Смирнов был коренным местным жителем. В середине пятидесятых годов, после окончания школы, он пошёл по комсомольской линии, затем закончил областную партшколу и стал инструктором в райкоме партии, где отличался бескомпромиссностью в проведении партийной линии, но она в те годы колебалась от восторга перед Сталиным до его осуждения, от обострения классовой борьбы до упомрачительного лозунга, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.

После свержения Хрущёва пострадали очень многие чересчур рьяные его сторонники, и Смирнов был одним из них. Разделённые райкомы и обкомы партии объединили, и многих партаппаратчиков вывели из номенклатуры, отправив добывать себе пропитание общественно полезным трудом. Почти все они неплохо устроились, но только не Смирнов. Он проявил редкостную верность свергнутому Хрущёву, везде его славословил и превозносил, поэтому хлебного места ему не дали. Ему удалось устроиться егерем в военном охотничьем хозяйстве, но проработал там недолго: сцепился, по своей привычке влезать во всё, с пьяными полковниками, которые начали стрелять друг в друга. Среди них оказались раненые, но обвинили во всём Смирнова, который, разнимая буянов, выстрелил несколько раз из своего ружья вверх, за что получил два года заключения. Выйдя на свободу, Смирнов ничем себя не проявлял, жил тихо, но первая волна гласности вынесла его из уединения на поверхность, и он принялся уязвлять райцентровских бюрократов всех мастей и оттенков.

— Спокойно, граждане! Спокойно! — громко возвещал Смирнов, стоя на крыльце в окружении своих сподвижников. — Вчера на митинге была единогласно принята резолюция снять с работы редактора районной газеты Сухова за лживые статьи против нас, антибюрократов, и саботаж перестройки! Но редактор забаррикадировался, вот смотрите! — Смирнов несколько раз дёрнул дверь на себя и ударил её ногой. — Заперся! — закричал Смирнов. — Теперь давайте все дружно: долой бюрократов!

Кричалку во весь голос повторили антибюрократы, затем начали кричать из толпы, каждый своё, и поднялся несусветный ор и свист. В редакции газеты услышали шум на улице и запаниковали.

— Немедленно все уходите через заднюю дверь! — скомандовал Сухов. — Таисия Алексеевна. Заберите с собой печать редакции, книгу приказов и партвзносы!

— А вы? — спросил заведомом партийной жизни Серков. — Неужели останетесь?

— Я буду вызванивать кого-нибудь из руководителей. Немедленно уходите! Это же гангстеры!

Редактор принялся судорожными движениями крутить телефонный диск, затем долго слушал длинные гудки. Райком партии не отвечал, все были непонятно где. Сухов позвонил Кидяеву. Председатель райисполкома был на месте. Выслушав при-

читания редактора, он почему-то весёлым голосом посоветовал:

— А ты, Сухов, Буряку позвони. У него милиционеры, пусть подошлёт пару ребят. И вообще — держись!

Редактор тотчас набрал ноль два, вызовы шли долго, наконец, послышалось покашливание:

— Дежурный по райотделу лейтенант ...

— Где майор Буряк? Это член бюро райкома партии, редактор газеты Сухов. Немедленно вышлите к редакции наряд милиции! Слышите грохот?.. Это дверь в редакцию антибюрократы ломают!

— Людей нет, все на выездах.

— Что же мне делать?

— А зачем вы от людей запираетесь? Откройте, поговорите с этими антибюрократами, узнайте, что им надо.

«Надо ж такому случиться: милиция и та уже не власть, а чёрт знает что!» — подумал он и продолжил:

— Но здание редакции, документы, наконец, я — в опасности. Могут изломать, поджечь, избить.

— Пока я не вижу, — сказал дежурный лейтенант, — состава преступления.

— Я что — вам из морга должен следующий раз позвонить?! — возмутился редактор, но милиционер его не слышал. Он положил трубку и уставился в телевизор.

Зуева события возле редакции заинтересовали. Многих из тех, кто толпился перед крыльцом и на крыльце, он знал. Все они были мирными и тихими людьми, никогда не высывались, а вот, поди ж ты, раскричались, растопорщились, как куры, на которых иногда нападает блажь стать перелётными птицами.

Смирнов опять стал колотить дверь редакции ногами.

— Ты ж все ноги отбил! — крикнул кто-то из толпы. — Лезь в окно!

Этот возглас услышал чутко прислушивающийся ко всему, что происходило на улице, редактор газеты и побледнел. Схватил трубку телефона и набрал номер райотдела милиции.

— Сейчас полезут в окно! — закричал он. — Высылайте наряд!

— Но ведь ещё не лезут, — резонно возразил дежурный. — Факта преступления нет, а митинговать можно, сейчас гласность. Вы поговорите с этими, как их, антибюрократами, что им нужно?

Сухов бросил трубку и схватился руками за голову. Бросил взгляд на шкаф, где за стеклом стояли тома полного собрания сочинений Ленина. «А ведь он, — мелькнула в голове редактора мысль, — тоже боролся с бюрократами. Но я-то какой бюрократ? Я — партийный журналист, что им от меня надо?»

Он подошёл к окну, раздвинул шторы. Его увидели, стали кричать, некоторые, а Сухов приметил несколько знакомых лиц, приветственно помахали ему рукой. Редактор ободрился, настезь распахнул окно, и к нему тотчас подбежал Смирнов.

— Ты что из окна на народ смотришь, как святой угодник с божницы? Открывай дверь, народ с тобой говорить хочет!

Сухов знал Смирнова как облупленного ещё с комсомола, вместе на танцы ходили, за одними девчонками ухлёстывали. Затем, правда, их пути разошлись, но ведь встречались на улице, здоровались.

— Что ты ко мне привязался? — истерично крикнул Сухов. — Что тебе надо?

— Что мне надо? Это не мне надо, а народу. Вот резолюция митинга. Ты уволен! Сдавай ключи, печать и так далее по описи!

Сухов опешил, наглость Смирнова переходила все границы разумного.

— Кто же назначен редактором газеты? — спросил он, тщетно высматривая наряд милиции. Толпа притихла, дело разворачивалось на всём серьёзе.

— Решением митинга редактором назначен я! — отчеканил Смирнов и сунул в лицо Сухова резолюцию.

Зуеву происходящее решительно не понравилось. Он знал редактора газеты с детства, учился в школе, где тот несколько лет был директором. В его памяти он остался добрым и стеснительным человеком, смотревшим сквозь пальцы на проказы учеников.

— Я могу прочитать эту резолюцию? — спросил редактор.

— Читай, — разрешил Смирнов.

Сухов взял листок бумаги, на мгновение исчез, появился в очках, прочитал резолюцию, разорвал её на мелкие клочки и швырнул их в лицо Смирнова. Тот сначала замер, а потом взъярился и полез в окно. Перестроечный энтузиазм райцентровских масс достиг апогея. Раздался хохот, гогот, свист, к Смирнову подскочили антибюрократы и стали помогать ему влезать в редакционное окно. Всеобщий гвалт

усилился, из гостиницы, райисполкома на этот бедлам смотрели хохочущие люди, и только здание райкома партии было безмолвно, за его зашторенными окнами не было видно ни одного лица, не замечалось ни одного движения.

Оставшись один против антибюрократов, Сухов не дрогнул и проявил неожиданную стойкость: он стал отбиваться от захватчика, швыряя в него тем, что попало под руку — тяжёлыми томами полного собрания сочинений Ленина. Окно было достаточно широким, книги пролетали мимо Смирнова или задевали его вскользь, наконец один книжный кирпич ударил ведущего антибюрократа райцентра точно в лоб, и он рухнул с подоконника на землю. Редактор издал победный клич, швырнул в поверженного врага ещё один увесистый том и захлопнул створки окна.

Это происшествие вызвало у зевак неудержимый хохот, мальчишки засвистели, заулюкали, и некому было вмешаться в явное нарушение общественного порядка, хотя неподалёку остановился милицейский «уазик», но из него никто не вышел.

– 6 –

Колпакову нездоровилось, но он пересилил хворь и, поднявшись с кровати, приблизился к божнице, прочёл «Отче наш» и сразу почувствовал себя легче, но на всякий случай смерил кровяное давление. Оно зашкаливало: вместо ста шестидесяти было двести, и, чтобы привести его в норму, Пётр Васильевич проглотил с водой таблетку адефана и прилёг на кровать.

«Пора собираться в дорогу, — спокойно подумал он, прислушиваясь к постукиванию ходиков. — Вот и часы хрипят от старости, поскольку истерлись зубчики колесиков, а я уже сколько пережил ходиков этих? Железо изнашивается, пора и мне износиться».

В печном углу избы потрескивал, проседая, сруб, который сработал Колпаков своими руками из ядрёных сосновых брёвен. Он всё в избе сделал сам, только печь сложил печник. Она, родимая, тяжёлая, как танк, давила избу на одну сторону, пора было её заменить на голландку, а еду готовить на привозном газе, но Пётр Васильевич тревожить печь не стал и, хотя жил один, зимой топил дровами и спал на печи, согревая мороженые-перемороженные в нарымской ссылке и фронтowych окопах старые кости.

Сын и правнук до рассвета ушли на заболоченное озеро ловить в тине карасей, а Колпаков ещё вечером вырвал из ученической тетрадки несколько чистых листов и довольно скоро, хотя давно уже не писал, сотворил послание райпрокурору с требованием оставить Размахова в покое.

Незаметно для себя Пётр Васильевич задремал и опаматовался от стука в окно. Он открыл глаза, повернулся на бок и увидел, что в стекло постукивает клювом синичка. «Какая умница! — умилился старик. — Видно, знает, что мне залёживаться нельзя. Надо оббежать кое-кого с письмом, пока коров в стадо выгоняют».

Он, не присаживаясь к столу, выпил кружку простокваши и поспешил выйти из дома на улицу, где сразу же сошёл с со своими соседками. Старушки, узнав, что за Размахова взялись власти, расписались в письме, и Колпаков направился на громкое похлопывание пастушьего кнута посреди проезжей улицы, где каждое утро сходились хозяйки бурёнок и какое-то время кучковались, делясь друг с другом свежими новостями. Колпаков со своим письмом прокурору стал не просто свежей, но даже горячий новостью. Желающих поддержать Размахова нашлось до половины из тех, кто был на этой сходке, но старик ни перед кем не распиался, собрал два десятка каракулей и побежал уже по тем подворьям, где жили люди, в чьей поддержке он не сомневался.

Подворный обход замедлил сбор подписей, каждому подписанту надо было объяснить суть дела со всеми подробностями, некоторые норовили устроить чаепитие и проговорить на деревенскую злобу дня хоть всё утро. Поэтому обойдя с десяток домов, Колпаков изрядно измаялся и решил на время сделать перерыв и заодно проведать Размахова.

На новом месте, в вагончике, Сергей проспал всю ночь без просыпу, однако на заре стал зябнуть и ворочаться, потом вразнобой, но слышно стали взмыкивать коровы, захолопал кнутом и запокрикивал пастух, где-то совсем рядом врубил музыку какой-то хмельёвский меломан, пофыркивая и постреливая выхлопом, по проезжей улице пробежал трактор-колёсник, и Сергей с неохотой выпростался из одеяла, в которое был завернут с головой, опустил ноги в тапочки и, откинув на двери крючок, вышел из вагончика, прихватив с собой полотенце.

Утро было росным, зябко поеживаясь, он поспешил к родничку и, пока добежал до него, омылся росой сверху и снизу: с кустов и деревьев она сыпалась крупным дождём, а ноги скоро стали мокрыми от влажной травы. Плеснув в лицо несколько пригоршней холодной воды, Сергей утёрся полотенцем и пошёл, весело поглядывая по сторонам, к храму. День обещал быть просторным и тёплым, небо мягко отсвечивало

слабой голубиной, веял тёплый ветерок, доносивший из школьного сада запах спелых яблок и начинавших уже кое-где наливаться желтизной листьев.

Подойдя к вагончику, Сергей обрадованно вздрогнул, по жестяному карнизу разгуливал вчерашний знакомец — голубь, который, увидев хозяина, скорее спрыгнул на распахнутую дверь и стал встопорщивать крылья.

— Заходи, гостем будешь, — сказал Сергей и, пройдя в вагончик, отломил от булки кусок и, размельчив его пальцами, бросил крошки на землю. Голубь на корм даже не посмотрел и, взмахивая крыльями, пошёл на взлёт, скоро он был уже на уровне купола храма, затем поднялся ещё выше и начал кувыряться, вспыхивая белоснежной изнанкой крыльев.

Размахов засмотрелся на голубя и не заметил, как рядом с ним появился Колпаков, слегка покрасневшийся и вспотевший от хлопот, которые он взвалил на себя по своей воле.

— Зря вы это затеяли, — сказал Сергей, глянув на листы бумаги. — Прокурор теперь с меня не слезет, и вряд ли мне дадут здесь работать.

— Скорее всего, ты прав, — вздохнул Пётр Васильевич. — Но сидеть сложа руки тоже негоже. Конечно, наш голос слабее мышиного писка, но его господь слышит и внимает скорее ему, чем тому, о чём орут сейчас на Москве.

— А там что? — вяло поинтересовался Размахов, едва ли до конца понимавший, что в этот час на кон поставлена судьба страны, но из Хмельёвки вся эта столичная заваруха виделась не трагедией тысячелетней державы, а банальной грызнёй за власть двух чокнутых партбояков, посмотреть на которую, пользуясь хорошей погодой, вывалила на улицу миллионноголовая, в любой момент готовая устроить бузу массовка.

— Что там? — переспросил Колпаков и продолжил: — Там — то же самое, что и во всей России. Вот, к примеру, в Ярославле приехавший американский сектант крестил в Волге разом несколько тысяч человек. Куда до него равноапостольному князю Владимиру, тот, наверно, во всём Киеве едва ли с тысячу человек наловил и силком побросал в Днепр. А ярославцы сами пошли креститься, скопом, а ведь среди них явно были такие, кто был крещён в младенчестве по нашему обычаю. Они кто теперь — православные или сектанты? Как им теперь быть?

— Конечно, это дураки, — сказал Размахов. — Но их оправдывает то, что дурость эта от прекрасноты и безоглядного стремления к счастью. Они ведь побежали в Волгу не бога обрести, а занять счастье, которое им насулил американец в своей проповеди.

Они помолчали.

— Тебе когда надо явиться к следователю?

— Сразу после обеда, — Размахов наклонился и разжёл сложенный между кирпичей костерок. — Скоро чайку заварим, позавтракаем.

— Чаёвничай без меня, — сказал Колпаков. — А я пойду гляну, сколько мои рыбки карасей наловили.

Сергей присел возле костра на корточки, пошевелил куском проволоки щепки, и они сначала густо задымили, затем их охватило пламя и стало грызть дерево, обращая его в золу и пепел. На жарко запылавшую растопку он положил несколько толстых и сухих веток и уже скоро должен был попятиться: таким жаром пахло от костра, что стало больно глазам, и они налились мутной влагой.

«Какая беда, — подумал Размахов, — что люди лишены возможности вернуться в своё детство. Покидая его, мы уносим с собой не только доброе и хорошее, но и всё накопленное предками зло. И это определяет направление, в котором движется человечество. И у людей, кажется, уже нет возможности сойти с этого гибельного пути, зло неуничтожимо, даже если оно совершено одним человеком. Я вознамерился возместить зло, которое причинил мой отец здешним людям, покаяться перед ними восстановлением храма, но он нужен только немногим старухам и одному старику, а остальным всё до лампочки».

Сергей взял закопчённый чайник, оставленный ему строителями, сходил к роднику, набрал воды и, добавив в костёр дров, поставил его на кирпичи. Он решил сегодня не приступать к работе, а сначала выяснить, что хочет от него прокуратура.

Чтобы как-то скоротать время, Сергей принял обихаживать свой «уазик»: вытащил из него коврики, смёл с пола пыль, вымыл стёкла, затем капот, крылья, дверцы, для чего пять раз ходил к роднику за водой. Между делом заварил чай и, оставив чайник в сторону, в угли костра бросил банку говяжьей тушёнки, чтобы позавтракать, а голубю, который почему-то не хотел его покидать, насыпал из бумажного кулёка случайно найденные в вагончике семечки.

Едва он позавтракал, как к храму подъехал старенький «уазик», из которого вышел священник и некто в шляпе и при портфеле. Размахов решил не обозначать своё присутствие и спрятался за вагончик, но устроился там таким образом, что ему было

всё слышно и видно.

— Вот, это и есть хмельёвская церковь, — сказал человек в шляпе. — Как видите, отец Николай, тут смотреть особо нечего. Признаться, я сам был удивлён, когда узнал, что какой-то энтузиаст взялся восстанавливать эти руины.

— Да, храм находится в удручающем состоянии, — согласился священник. — Но пройдёмте внутрь и поглядим, как там.

Сергей, услышав, о чём толкуют незваные гости, приуныл: выходило, что его обложили со всех сторон и надо отбиваться не только от милиции и прокуратуры, но и от архитектора и попа. Появление священника смутило его особенно глубоко. «С ментами и следователями ещё можно спорить, — подумал он, — но что скажешь попу, если тот спросит, что я подеываю на его территории, в его угодах?»

Архитектор, пользуясь возможностью покрасоваться своими познаниями перед столь диковинным собеседником, вслух вспоминал всё, что ему говорили о храмовом зодчестве профессора института, в котором студенты мечтали стать творцами выдающихся архитектурных ансамблей, а получали вместе с дипломом направления в райисполкомы, чтобы томиться в кабинете, подписывать бумажки, глупеть, спиваться и стариться.

Отец Николай слушал его вполуха, он имел неплохой приход в пригороде областного центра с нескупыми прихожанами и был послан епископом в Хмельёвку как первый подвернувшийся под руку иерей, дабы узнать, что за человек покушается на церковь, которая в числе других храмов недавно отошла от государства местной епархии. Совершенно неожиданно для отца Николая поездка оказалась нескупной. Его принял Кидяев, обворожил признанием, что он был всегда верующим человеком, и продемонстрировал городскому попу стоявшее на полке в книжном шкафу, рядом с тридцатитомником Ленина, Священное писание, которое всучил Тимофею Максимовичу приезжавший в райцентр баптистский проповедник.

Егозливое поведение главы района было для отца Николая не в диковинку, многие махровые атеисты вдруг воспылали любовью к попам, его удивило другое — человек, который по своему почину взялся восстанавливать храм, сие было неожиданно и странно, поскольку благотворитель был человеком городским и никак не связанным с Хмельёвкой. Священник высказал своё недоумение, но Тимофей Максимович не стал размазывать перед приезжим попом — человеком молодым и непредсказуемым — историю с закрытием церкви и то, что самовольщик Размахов является сыном ярого атеиста, бывшего уполномоченного облисполкома по делам религий.

— Вы его шутните, святой отец, — сказал Кидяев. — Да так шутните, чтобы дорогу сюда забыл. Храм ваш, и вы в нём хозяева, а не этот прощелыга.

Отец Николай смутился, и Кидяев его срочно перепоручил райархитектору, который сразу же повёз попа в Хмельёвку, чтобы осмотреть то, что осталось от храма.

— Конечно, — сказал архитектор, выходя вслед за священником на паперть, — эта церквушка не имеет даже районного значения как памятник зодчества, но для меня важно, что это — памятник культуры. И вы представляете, отец Николай, ко мне год назад явился кооператор за разрешением организовать в этом храме лесопилку. Я, конечно, не разрешил, но пылкий кавказец наката на меня жалобу в газету «Известия», и началось! До сих пор эта газета числит меня в зажимщиках перестройки.

— Вы поступили как честный человек, а брань на ворота не виснет.

— Всё так, но меня вызывали на бюро райкома партии и объявили выговор. Это сейчас они куда-то подевались, а ещё месяц назад райком партии командовал всем и всеми.

— Надо бы встретиться с этим человеком, — сказал отец Николай. — Вот стоит вагончик, машина, это всё, наверное, его.

— Ваш приезд не остался незамеченным, — сказал архитектор. — Видите старушек? Они ведь идут сюда и, стало быть, ответят на все вопросы.

Приезд священника, и в самом деле, был замечен глазастыми хмельёвскими старухами, они мигом собрались у дома Анны Степановны и пошли к храму. Размахов их пока не видел, но рядом с ним кто-то жарко задышал и негромко произнёс:

— Я гляжу, вы сели в засаду. Что случилось?

Размахов повернул голову. Рядом с ним на корточках сидел Зуев.

— А вы зачем сюда явились?

— Как зачем? — прошептал Зуев. — Буду помогать вам. Не прогоните?

— Меня самого сегодня отсюда турнут.

— Это по какому же праву?

— Тише, — сказал Размахов. — Послушайте, может, поймёте, что меня ждёт.

За десяток метров от паперти старухи остановились и, сбившись друг к другу, потупились. Отец Николай благодетельно на них поглядывал и оживал, когда они осмелеют и подойдут, но архитектор их поторопил:

— Не стесняйтесь, гражданки, подходите, есть тема для разговора.

Анна Степановна первой подошла к священнику:

— Благословите, батюшка.

— Бог благословит, — кротко сказал отец Николай и осенил старую крестным знаменем.

Через мгновение к нему выстроилась очередь. Получив благословение, старухи отходили в сторону и скоро выстроились полукругом перед приезжими. Отец Николай вопросительно глянул на архитектора, тот его понял и строго спросил:

— Нам надо встретиться с гражданином, который самовольно вторгся на территорию объекта, принадлежащего православной церкви. Где нам его найти?

Старухи засмутились и запереглядывались, им явно не хотелось вступать в общение с представителем власти. Отец Николай это почувствовал и мягко произнёс:

— Я хотел с ним побеседовать и понять мотивы, подвигнувшие взяться за непосильный для одного человека труд.

— Он скоро явится, — сказала Анна Степановна. — А человек он хороший и смиренный.

— Да-да... — зашумели старухи. — Смиранный и уважительный...

Размахов резко поднялся с земли и стал охлопывать со штанин травяные соринки. Зуев встал следом за ним и сказал:

— Вот оно как начинает поворачиваться. Вы пойдёте к ним?

— Нет, — буркнул Сергей. — Меня вызывает прокуратура, и я еду в райцентр.

— Прокуратура, — удивился Зуев. — Да вы попали в спецрозсыск!

— Не знаю, куда я попал, — скривился Размахов. — Но чувствую себя глупо.

— Я поеду с вами, — решил Зуев. — В прокуратуру надо идти вдвоём, чтобы был свидетель.

— Они могут и вас замести, не бойтесь?

— Я своё отбоюсь. Итак, вперёд и с песней!

Они вышли из-за вагончика, шагая в ногу, и, сев в машину, покинули молчаливо глядевших на них старух, архитектора и священника, прежде чем те успели прийти в себя.

— Куда это они заторопились? — удивился отец Николай.

— Сергея Матвеевича в прокуратуру вызвали, повесткой, — объяснила Анна Степановна. — Пётр Васильевич как раз сегодня обходил нас с письмом, чтобы нашего строителя не судили, — она показала на спешащего к ним Колпакова, который сразу обратился к священнику:

— Вы, батюшка, Сергея Матвеевича строго не судите. Он явился к нам от чистого сердца и много успел сделать.

— Я что-то не заметил следов его работы, — скептически сказал архитектор.

— Это ты зазря так, молодой человек, говоришь! — обиделся Пётр Васильевич. — Здесь в человеческий рост мусору было, и он всё своими руками вывез вон на той тачке.

— Хорошо, не будем об этом, — сказал архитектор. — Довожу до вашего сведения, что храм в числе многих других решением облисполкома передан епархии.

— Слава тебе, господи! — перекрестился Колпаков. — Не чаял и дожить до этого дня. Только беда у нас, батюшка...

— Что такое? — живо откликнулся отец Николай.

— Размахова седни в прокуратуру вызвали. Он, наверно, сейчас туда умотал. Надо его выручать.

— Действительно надо, — сказал священник. — У вас как районного архитектора претензии к Размахову есть?

— Нет. Претензии к нему у прокурора как к самовольщику.

— Что ж, тогда надо ехать к нему, — решил отец Николай и пошёл к райисполкомовскому «узику». Старухи двинулись за ним следом и так жалобно глядели на священника, что тот взял на себя смелость успокоить их обещанием, которое хотя и не было одобрено архиереем, но неизбежно должно было исполниться в недалёком будущем. — Через самое малое время на ваш приход будет поставлен священник...

Совершенно неожиданно к отцу Николаю кинулся Пётр Васильевич, потрясая листками бумаги.

— Вот старый дурень! Я же про заявление и подписи забыл! Ведь его следователь мигом опутает, Сергей — парень простой, не битый, не мятый. Здесь на церкви от чистого сердца всё делал, наши старухи готовы были его на руках носить...

— Что за заявление? — спросил отец Николай. — В чём же его обвиняют? — ещё пуще заинтересовался священник. — Из-за церкви?

— Не имел, дескать, права здесь шевыряться, тут, мол, государственное имущество. Но сам видишь, батюшка, сколько здесь осталось государственной собственно-

сти. Стены да дыры. Я с вами.

— Садитесь, — недовольно буркнул архитектор. — Но обратно я вас не повезу.

Во время пути отец Николай решал непростую задачу. Размахов с первого взгляда показался ему порядочным человеком, его желание восстановить церковь заслуживало одобрения, но священника смущало другое: он опасался выйти за рамки той задачи, которую ему было поручено решить. Во всяком случае, епископ не поручал ему вмешиваться в мирские дела.

Глава четвёртая

— 1 —

Обычно уравновешенный и рассудительный Размахов, сев за руль, повёл себя по-мальчишески и так газанул, что из-под колёс «уазика» брызнули песок и камешки. Машина на полной скорости вырвалась на проезжую улицу и, распугивая кур и редких прохожих, промчалась мимо сельсовета, на крыльце которого стоял и покуривал первую после сытного обеда сигарету Романов. Председатель узнал в водителе Размахова и удовлетворённо хмыкнул: скандал вокруг храма вот-вот должен завершиться самым поучительным для всяких приезжих проходимцев образом. Пусть Москва и потеряла голову, но в глубинке советская власть ещё достаточно прочна, чтобы образумить любого, кто вздумает ей перечить и своевольничать. Романов сам был советской властью много лет, знал её изнутри и свято верил, что ей никогда не будет износу, как бы ни шумела и ни пенилась перестроечная шарашка — это всего лишь лёгкое взморщивание на поверхности огромного русского моря, которое испокон веков тяготеет к покою, черпая в нём долголетие и силу. Но стоит ему покачнуться и тем паче взыграть и накрениться, то не дай бог выплеснуться ему из своих берегов. Цельное в своём покое, оно, подобно ртути, может распасться на многие десятки миллионов шариков и разбежаться по лику земли, чтобы уже больше никогда не собраться воедино.

За околицей деревни Размахов наконец успокоился и повёл машину без спешки и ровно. Он чувствовал себя неловко перед Зуевым, который стал невольным свидетелем его нервного срыва, виновато на него глянул и включил радио. Послышалось звучание симфонического оркестра, в которое то и дело вторгалось фортепиано, то бурными и взрывными, то умиротворяющими и медленными пассажами.

— Я вас видел в городе, на встрече антибюрократов с межрегионалом Треплинским.

— Был такой грех, — усмехнулся Зуев. — Захотел глянуть своим одним глазом на московского писателя и демократа.

— Ну и как он вам показался? — сказал Размахов. — Я тоже был на этой встрече и, признаюсь, ничего не понял из того, что он говорил. А вот фронтовик, видимо, понял и стал душить писателя, как курёнка. Если бы не вы, то вряд ли бы москвич остался живым.

— Я не его пожалел, а ветерана, — Зуев полез в карман и достал удостоверение, вручённое ему главным антибюрократам области Отступниковым. — Вы видели, как я получал это?

— Видел, — усмехнулся Размахов. — Быстро же вы разочаровались в демократах.

— В гробу я их видел, как, впрочем, и таких коммунистов, как Кидяев и наш беглый первый секретарь райкома.

Зуев швырнул удостоверение в окно и озорно улыбнулся Размахову. Тот ему подмигнул и сказал:

— Мне нравится ваше жизнелюбие. Как её ни клянут, ничего лучше жизни у человека нет и быть не может.

— Я сегодня приехал в Хмелёвку, чтобы спрятаться от необходимости принимать решение, — признался Зуев. — Вчера пообещал хорошей женщине, что на ней женюсь, а сегодня замандражил. Дай, думаю, поеду в Хмелёвку, поработаю на храме, может, и определюсь. А у вас такая заваруха!

Размахов по-доброму позавидовал Зуеву, тот стоял перед выбором, исход которого предугадать было совсем несложно. Сам Сергей тоже ещё не потерял надежды устроить свою жизнь, но ему это сделать было неизмеримо труднее, мешал возраст, грустный опыт прошлого, да и лень, он уже привык к одиночеству и почти захолостяковал.

— Женись, Зуев, — почувствовав симпатию к парню, он перешёл на ты. — Это каждому мужику на роду написано. И ты — не будь дезертиром — женись.

В машине стало душновато, Размахов опустил со своей стороны стекло, пахнуло тёплым ветром, принёсшим с собой запах придорожной пыли и пыли. «Уазик» въехал в предместье райцентра со стороны деревозавода, и по обе стороны дороги пошли штабеля берёзовых брёвен одной толщины, из них делали шпон, который отправляли

в Финляндию для производства мебели.

— Где тут прокуратура? — притормозив на перекрёстке, поинтересовался Размахов.

— Езжай всё время прямо, вон к тому дому с зелёной крышей.

Размахов заглушил мотор чуть в стороне от казённого дома, поднял в дверце стекло и повернулся к Зуеву.

— Жди меня, если хочешь, но идти со мной тебе не стоит.

— Я побуду в коридоре, возле двери.

— Как хочешь, но тебя моё дело не касается.

Дверь следовательского кабинета была выкрашена светло-серой краской и захватана грязными руками. Сергей прислушался и уловил шёпот радио, передающего очередное постановление ГКЧП. Неподальёку хлопнула дверь, и, постучавшись, он перешагнул порог кабинета. Следователь Глазков на приветствие не ответил, посмотрел на часы и сухо произнёс:

— Опоздываете, гражданин Размахов. Вот здесь в протоколе допроса распишитесь, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Подписываясь, Размахов краем глаза успел заметить, что следователь намеревается допрашивать его как подозреваемого. Председатель сельсовета Романов как в воду глядел, предупреждая его об этом.

— Я, кажется, вызван сюда свидетелем, — сказал Сергей, ощутив всю зыбкость своего положения.

— На моей памяти, — холодно произнёс Глазков, — было несколько случаев, когда человек приходил в этот кабинет уверенным в своей невинности, а отсюда его выводили в наручниках.

— Вы и мне приготовили такой же сюрприз? — спросил Размахов, успокаиваясь.

«Чего, собственно, мне бояться, — подумалось ему. — Ну, повыведывается следователь и отпустит».

— Я бы на вашем месте так не шутил, — сказал Глазков. — Вы, пока, привлекаетесь по двум статьям Уголовного кодекса, за самоуправство и за незаконное производство работ. По этим статьям предусматривается наказание в виде лишения свободы. Прошу вас иметь это в виду. Но вернёмся к протоколу. Ваши фамилия, имя, отчество?

Допрос длился около часа. За это время Размахов рассказал о том, как он появился в Хмельёвке, что успел сделать в церкви.

— Я вас не понимаю, Размахов, — с нотками сочувствия в голосе произнёс Глазков. — Серьёзный человек с высшим образованием, уже далеко не юноша, и вдруг такое мальчишество. Это надо же! Приехать к нам и заняться таким безобразием. Откуда это у вас?

— Нет ничего странного, — решил наполовину открыться Сергей. — Я прочитал в газете, при каких обстоятельствах был закрыт этот храм, приехал в Хмельёвку, посмотрел, затем взял отпуск и принялся за работу.

Глазков погрузился в задумчивость, затем неожиданно ткнул в сторону Размахова пальцем.

— Вы православный?

— Как вам сказать, — смешался Сергей. — Скорее всего, православный.

— Может, вы сектант? — наел Глазков. — Баптист или адвентист?

— Нет, что вы! — изумился Сергей. — Даже рядом с такой публикой не стоял. Но я русский, стало быть, православный.

Следователь кисло глянул на подозреваемого и откинулся на спинку кресла.

— Вас предупреждали о недопустимости проведения работ на объекте?

Не заметив подвоха, Размахов признался, что к нему приходил участковый и грозил штрафом.

— Вот мы и установили самое главное, — довольно сказал следователь и застрочил ручкой по бумаге. — Теперь в ваших действиях просматривается главное — умысел. То есть вы действовали не по незнанию, а умышленно. Так-то вот!

— Интересно девки пляшут! — невольно вырвалось у Размахова. — Вы что, намерены меня в тюрьму посадить?

— Это не я решаю, а суд, — самодовольно осклабился Глазков. — Да-да, суд! А пока подпишите протокол, на каждой странице. С моих слов записано верно и подпись.

— Прочитать можно?

— Прошу! Читайте внимательно, не спеша.

«Неужели всё, чем я жил последний месяц, уместилось в три странички? — подумал Размахов, перелистывая протокол. — Ведь здесь совсем не обо мне написано, это не я, а кто-то другой занял церковь и начал там самоуправничать. Нет, это не я».

— Я этого не подпишу, — сказал он. — Повторяю, я протокол подписывать не буду!

— Ошибаетесь, голубчик, подпишете, у меня отказчиков не бывает, — зловеще

прошипел следователь. — Ведь мне недолго вас задержать, и эту ночь вы прокукуете в КПЗ. Вас такая перспектива устраивает?

Зуев стоял возле кабинета Глазкова и прислушивался к доносящимся оттуда голосам. В коридоре послышались шаги, и Родион отпрянул от двери.

— Что, допрашивает? — сказал Колпаков. — Видите, батюшка, допрашивают парня!

— Если вы не подпишете протокол, то я укажу, что вы от подписи отказались, — послышался из-за двери голос следователя. — Не осложняйте своего положения!

— Вы на меня наручники собираетесь надеть? — насмешливо спросил Размахов.

— Учитывая ваше поведение, такое может произойти уже через полчаса.

Мимо них по коридору провели мужика под конвоем двух милиционеров.

— Надо что-то делать! — воскликнул Зуев. — Вы, батюшка, за Размахова?

— Я скажу своё слово, — ответил священник.

— Тогда идём к прокурору! — решил Колпаков.

Прокурор Звягин был удивлен появлением в своём кабинете не на шутку взволнованных граждан, из которых он сразу выделил священника и догадался, что они явились по делу Размахова. Посетители застали его в тот момент, когда он переговаривал по телефону с заместителем прокурора области и, выяснив, что в дело о хмельвской церкви не следует вмешиваться, раздумывал, как лучше его похерить. «Власть предержажие начали ухаживать за попами, — сказал зампрокурора, — а твой Кидяев еле держится. Лучше быть от этой бодяги в стороне».

На видавшего виды Колпакова кабинет и его хозяин не произвели особого впечатления, он подошёл к столу и положил на него свои бумаги.

— Что это? — опасно спросил Звягин.

— Заявление и подписи от граждан Хмельёвки в защиту вашего подследственного Размахова.

— Размахова, — задумчиво произнёс прокурор. — Да, что-то припоминаю. А где он сам?

— В кабинете у следователя Глазкова.

Звягин, водрузив на нос очки, прочитал заявление, просмотрел подписи и сказал:

— Что-то вас много собралось. Пожалуйста, выйдите в приёмную, кроме гражданина священника.

— Можно мне остаться? — спросил Зуев. — Вы ведь меня знаете.

Звягин поморщился: в этой компании, кроме попа, ещё и «афганец», он здесь с какого боку?

— Я вас не приглашал, интервью не будет. Вы свободны.

Когда Зуев, покраснев от возмущения, вышел из кабинета вслед за Колпаковым. Звягин позвонил по телефону и сказал:

— Зайди ко мне, — в кабинете с протоколом допроса в руке вошёл Глазков. Прокурор быстро просмотрел его и хмыкнул: — Вина Размахова несомненна, он признался во всём. Почему протокол не подписан?

— Отказался.

— Ну, это не имеет значения. Вот такова коллизия, — обратился к священнику Звягин. — Конечно, Размахов не причинил вреда, но сам факт самоуправства налицо.

— Если мне будет дозволено, — сказал отец Николай, — то я выскажу свою личную точку зрения. Мне кажется, что Размахов действовал под влиянием внезапно возникшего в нём благородного порыва. И это извиняет его проступок.

— А ты что скажешь, Глазков? — спросил Звягин и посмотрел на подчинённого тем особым взглядом, который был понятен следователю, потому что они, Глазков и Звягин, давно притёрлись друг к другу.

— Дело практически доказанное, но будет ли оно иметь судебную перспективу?

— Жители Хмельёвки выступили в защиту Размахова, — сказал священник. — Судебный процесс может вызвать толки, станут говорить о трениях между властью и церковью, а это нежелательно.

— Ситуация понятна, — сказал Звягин. — Решай, Глазков.

Следователь изобразил мучительное раздумье, вздохнул и произнёс:

— Что ж, ввиду открывшихся обстоятельств, я подготовлю постановление о прекращении дела. Остальное от меня не зависит.

Прокурор задумчиво перелистал материалы по Размахову, отложил их в сторону и, обращаясь к отцу Николаю, сказал:

— Дело мы закрываем, но где гарантия, что он опять не полезет в церковь?

— Уверен, что этого не случится, — сказал священник. — Храм передан епархии. И в нашей власти решать, кого допускать туда, а кому — запрещать.

Зуев не стал топтаться возле прокурорского кабинета, прислушиваясь к тому, что

происходит за оббитыми кожей дверями, а пошёл разыскивать Размахова. В коридоре его не было, на улице тоже, и Родион заглянул в кабинет следователя. Сергей сидел к нему спиной и на дверной скрип даже не шелохнулся.

— Ты как, в порядке?

— Пока жив, — сказал, вставая со стула, Размахов. — А вот что будет, не ведаю.

— Из Хмельёвки приехали тебе на выручку старик и поп, сейчас он толкует с прокурором. Ты можешь выйти на улицу?

— Я не на привязи, — усмехнулся Сергей. — И прокурорского решения могу дожидаться и на свежем воздухе.

Вместе с ними на улицу вышел Колпаков и сунул на ходу под язык таблетку валидола. Его состояние не укрылось от Размахова.

— Присядьте, Пётр Васильевич, на лавку, отдышитесь. Я же просил, чтобы вы не хлопотали за меня, а вы не послушались.

— Ерунда, — сказал старик. — Такое со мной за день раз пять случается. Слушать врачей и таких доброхотов, как ты, так мне надо в гроб ложиться и вести себя в нём так тихо, что даже не вздрагивать.

На крыльце показалась сердитая крашеная тётка и строго спросила:

— Кто здесь Размахов?

— Ну я, — чуть побледнев, сказал Сергей.

— Вас требует прокурор!

Звягин был сух, подчёркнуто вежлив и, объявляя своё резюме по делу, хмуро поглядывал на Размахова и постукивал концом карандаша по столу.

— На этот раз я ограничусь предостережением. При всякой попытке проникнуть на территорию храма, принадлежащего епархиальному управлению, вы будете немедленно привлечены к уголовной ответственности, без всякой скидки на любые смягчающие обстоятельства. Пока же следователь возьмёт с вас подписку, что вы предупреждены об ответственности, которая неотвратимо последует, если вы забудете, что вам сказано в этом кабинете.

Подписка у Глазкова была уже готова, Сергей, не читая, расписался на бумажке и, не прощаясь, вышел. Он чувствовал, что за время, проведённое здесь, его успели и оглядеть со всех сторон, и вывернуть наизнанку. И теперь ему не терпелось поскорее остаться одному, чтобы успокоиться и подумать о будущем. Он сбежал с крыльца, но его окликнул священник. Сергей остановился и настороженно на него глянул.

— Зря вы так поспешили и не услышали, что я сказал прокурору.

— Здесь любые слова бесполезны.

— Почему же? Слово — это тоже дело. А сказал я, что епархия не будет возражать, если вы окажете помощь в восстановлении храма.

Размахов задумался, но ненадолго, ему показалось, что он догадался, что имел в виду священник.

— Теперь я понимаю, что, схватившись сгоряча за неподъёмное для одного человека дело, поступил глупо и самонадеянно. Но у меня есть возможность исправить свою ошибку прямо здесь, в сию минуту, — Сергей достал из машины потёртый кожаный портфель, расстегнул его и вынул запечатанные банковской упаковкой две пачки десятков. — Примите, батюшка, эти деньги на восстановление хмельёвского храма. Здесь две тысячи рублей, считайте их моим первым взносом.

Отец Николай был молод, и щекотливая ситуация, в которую он попал, его смутила и ввергла в соблазн протянуть за деньгами руку, но он быстро нашёлся:

— Благодарю вас за щедрость, но принять деньги я не могу.

Теперь настала очередь смутиться Размахову, и он робко произнёс:

— Но кому отдать деньги?

— На хмельёвский приход скоро будет назначен священник, ему и передадите своё пожертвование. Если не остынете, то можете стать ему деятельным помощником. Но для этого вам нужно переосмыслить очень многое. Стать христианином не так просто, как это может показаться.

Размахов никак не ответил на назидательные слова священника, сунул деньги в портфель и повернулся к Колпакову:

— Садитесь, Пётр Васильевич, или у вас есть здесь дела?

— Век бы их не видеть. До свиданья, батюшка. Вы уж там поторопите кого нужно, чтобы нам доброго попа прислали. Мы ему помогать будем, пока живы, как господь поволит.

Зуев проявлял явное нетерпение и, воспользовавшись тем, что Размахов открыл капот и стал проверять уровень масла, приблизился к нему и сказал:

— Надеюсь, увидимся в городе, — сказал Зуев. — На мою свадьбу придёшь?

— Что, решился? — улыбнулся Сергей. — Конечно, приду. Между прочим, я завтра возвращаюсь домой, могу и тебя прихватить в город.

— Было бы здорово! — обрадовался Родион. — Тогда я сейчас тоже поеду и покажу, где живу.

— 2 —

Расставшись с Зуевым возле его дома, Сергей выехал на выездную дорогу, где повёл «уазик» как можно бережнее, чтобы не беспокоить Петра Васильевича, который, закрыв глаза, казалось, крепко задремал на сидении. Спокойная езда не мешала Размахову вернуться к недавним событиям, он прокручивал их в памяти, но не мог в полной мере оценить. Нужно было время, чтобы успокоиться и всё осмыслить, а пока лезло на ум лишь то, что у Глазкова он вёл себя явно не лучшим образом, и сейчас ему было стыдно за свою глупость и излишнюю податливость.

«А ведь я трус, — с горечью подытожил Сергей. — Едва-едва устоял, а ведь чуть не подписал протокол. Если бы Глазкова не вызвал прокурор, то он меня дожал бы, ведь я уже потёк страхом перед арестом. Так вот и проверяет человек самого себя, и надо радоваться, что об этом знаю только я».

Здоровый человек не может долго мучить себя стыдом, и Размахов скоро нашёл себе оправдание, что поддался слабости лишь потому, что слишком горячо воспринял вызов к прокурору. Следовательно, едва Сергей вошёл в кабинет, насел на него коршуном и заклевал вопросами, которые забивал в голову подозреваемого, как ржавые гвозди, и добился своего, подмял под себя Размахова, почти превратил его в ничто. Знать об этом было противно, и Размахов, заскрипев зубами, нечаянно газанул и потревожил Колпакова, который уже оклемался и ткнул пальцем в радиоприёмник.

— Включи свою гавотьку! Узнаем, как там в Москве.

Сергей покрутил ручку громкости, послышалась музыка, вполне серьёзная и даже патетическая, которая, не успев наскучить слушателям, внезапно оборвалась, радио задребезжало, и сухой голос диктора сообщил последние новости. Затем опять зазвучала музыка, Колпаков выключил приёмник и матюгнулся.

— До танков дело дошло, мать их за ногу! Не думал, что доживу до такого. Я, парень, советский человек, хотя советская власть меня дважды до кровавых соплей приласкала сначала ссылкой в Нарым, а потом, уже после войны, лагерем. Но я не в обиде: лес рубят — щепки летят. По-другому с нашим народом нельзя, а в Москве и народа нет, там одни едоки.

— Как это нет — все восемь миллионов? — удивился Размахов. — И они, кажется, требуют счастливой жизни не только для себя, а для всей страны.

— Счастья для всех? — скривился Колпаков. — Этот миллион, что сейчас вышел на улицы, не народ, а обслуга столичного начальства, начиная от шофёров и кончая профессорами и академиками.

— Но зачем начальству бунтовать? — сказал Сергей. — У него всё есть.

— Всё есть у того, кто ворует, а попадётся, то получит срок. Надоело так начальству жить, и оно бьётся сейчас за полную для себя волю, чтобы жить вполне по-барски, и никто не смог бы на него пальцем указать, что он вор и мироед.

Размахов хотел было возразить старику, что тот сгущает краски, и если говорить, кто кому обслуга, то учителя и врачи скорее обслуга народа, чем начальства. Но его остановило то, что он сам лет десять тому в кругу художников, писателей и другой весьма продвинутой в западном направлении публики тоже калякал о преимуществах демократии и иногда даже подумывал, что неплохо перенести шведское устройство жизни в страну «развитого социализма». Сейчас Сергей об этом уже не мечтал, но в словах Колпакова была та правда, что советскую интеллигенцию власть образовала, а накормить забыла. Сам Размахов после института получал всего сто двадцать рубликов, а дядя Вася с четырьмя классами — в два раза больше и таких, как Сергей, считал «вшивой интеллигенцией».

— Что же теперь будет? — уже который раз за последние два дня неизвестно кого спросил Сергей.

— Что будет? — сказал, вздохнув, Колпаков. — А то же, что и всегда. Самые наглые и бездушные дадут народишку пошуметь, а потом загонят в стойла с телевизорами и кинутся грабить и растаскивать народное добро: кто машину прихватит, кто — трактор, кто — весь колхоз-совхоз, а кому-то автозавода покажется мало, прикарманит республику, у нас ведь их много...

Размахову такая перспектива казалась невероятной, он верил, что есть ещё сила и справедливость, которые не допустят, чтобы в стране началось безурядье и грабёж, и все в конце концов образумятся, устыдятся того, что натворили, и возьмутся склеивать разбитые в суматохе перестройки отеческие горшки. Народ винить в том, что он в демократическом кураже выхлестал в своей избе окошки и разложил посреди пола костёр — затруднительно, ведь он был не в себе от спешащего к нему со всех ног счастья, которое якобы избавит его от постылой жизни с её беспросветным трудом,

болезнями и ужасом исчезновения в любое мгновение во тьме, у коей нет ни дна, ни покрышки.

— А ты, парень, что теперь надумал делать?

— Я вам, Пётр Васильевич, оставлю свой адрес. Как только сюда попа пришлют, вы мне сообщите, и я привезу деньги — гораздо больше, чем у меня с собой.

— Хороший ты человек, — после некоторого молчания сказал Колпаков. — Я ведь с твоим отцом сталкивался, когда он приезжал церковь закрывать. И после из виду не выпускал. Когда услышал твою фамилию, то сразу всё понял. Ты совсем другой, чем твой батя. Тот был волчара, а те дам! Молчу, молчу... И ты не обижайся ни на меня, ни на своего отца. Твой вот недавно помер, а я ещё телепаюсь, но мы оба из прошлого, и тебе должно быть равно — живые мы или мёртвые.

— Порой я и сам не пойму, как погляжу на то, что творится, жив я или нет меня, — сказал Размахов. — Похоже, и всех, кто сейчас, ополоумев, бегают по Москве, можно вычеркнуть из живых: так рьяно проклинать своё прошлое может лишь тот, у кого нет будущего.

Они выехали на взгорок, и перед ними открылся согревающий душу вид на просторное ещё недавно покрытое спелой пшеницей поле, которое сейчас было пустым, но не безжизненным: на одном его краю два «Кировца», двигаясь бок о бок, оставляли за собой широкую чёрную полосу вспаханной земли, на другом краю, ближнем к Хмелёвке, бродило стадо пёстрых коров. Смешанный лес, с одной стороны отгораживающий поле от оврага, во многих местах, где были осины, проржавел и поредел, и это напомнило Размахову, что прошмыгнуло мимо ещё одно лето его жизни, в которое он вступил с надеждой совершить, может быть, своё самое главное дело, и вынужден теперь признать, что этому не суждено сбыться.

В том, что случилось, кроме себя самого, Сергей никого не винил, ещё несколько дней назад он начал подозревать, что взялся за неподъёмное для одного человека дело, и за ним никого не было, кроме его тени, одного немощного старика и нескольких старух. Все хмелёвские на него поглядывали как на приезжего дурачка, городского придурка, который свалился им на голову и затеял невесть что, непонятно с какой целью. Суэта Размахова вокруг руин храма казалась им, занятым крестьянским трудом, блажью и придурью городского чужака и вызывала у местных жителей опасения, что здесь не всё так чисто и просто и приезжий ищет для себя какую-то выгоду, от которой пострадает вся Хмелёвка.

— Ты когда уезжать собрался? — сказал Пётр Васильевич, когда они уже въехали в деревню.

— Наверно, завтра.

— Слушай, сделай милость, захвати моих, сына и правнука, в город. Заодно я им и тебе картохи по мешку снаряжу, луку, ещё кое-чего. Договорились?

— Без проблем, — сказал Сергей. Колпаков вышел из машины и, прищурясь, глянул на Сергея, мол, что не выходишь? — Я забыл дверь на вагончике запереть, — сказал Размахов. — Подъеду попозже.

Выехав из переулка, он повернул к храму, но ему преградил дорогу Федька Кукуев, который выскочил из кустов и стал кричать и размахивать руками.

— Что случилось? — Сергей высунулся из машины. — Опять танки?

Дурак в ответ понёс околесицу, несколько раз подпрыгнул на месте и побежал по тропке к храму. «Вот оно что! — понял Сергей. — Что-то случилось там».

Виновником беспокойства оказался уже знакомый Размахову мужик. Он выволок из вагончика уже не первый мешок цемента и принаравливался уложить его на свою двухколёсную тачку. Сергей быстро подошёл к ней и увидел, что гвозди, два топора, лопаты уже находятся там.

— Неси мешок назад, — строго, но спокойно сказал Сергей. — Я ведь тебе сказал, что я всё купил у строителей.

— А они где взяли? — огрызнулся мужик. — В колхозе стащили. Так что — заткнись, пока до председателя не дошло.

— Отнеси мешок в вагончик! — вспыхнул Сергей. — А то!..

— Да пошёл ты! — завёлся мужик и, приподняв нагруженную тачку, попытался стронуть её с места, но Сергей крепко схватил его за ворот рубахи и отшвырнул в сторону, затем опрокинул тачку, вывалил всё, что в ней было, и столкнул её вниз в овраг. Мужик попытался пойти на обидчика с кулаками, но Сергей одним толчком отправил его вдогонку за тачкой.

Свидетелем потасовки стал Федька, она его развеселила, и он, похохатывая, помчался по деревне, оповещать всех встречных о случившемся. Федьку давно никто не слушал, и стычка возле храма осталась незамеченной, но Размахов почувствовал себя скверно. «Нашёл, об кого руки марать! — корил он себя, сидя на брёвнышке возле вагончика. — Всё равно ведь растащат. Надо бы уехать домой, да обещал Колпакову

доставить до города его родню».

Сергей вспомнил о голубе и заглядывался по сторонам. Его крылатый приятель, словно догадался, что его высматривают, и, слетев с крыши храма, сел рядом с ним и забормотал, расхаживая взад-вперёд по брёвнышку. На ласковое гудканье голубь откликнулся и, взмахнув крыльями, сел Сергею на плечо, и тот умилился этой голубиной лаской. «Если до утра не улетит, то возьму домой, — решил он. — Найду ему пару и поселю на балконе».

Он снял голубя с плеча, легонько подбросил вверх, посмотрел вслед и принялся за работу. Вываленные из тачки мешки с цементом сложил под вагончиком, чтобы их не промочило дождём, лопаты, ящик с гвоздями и топоры унёс в храм и спрятал за лестничной дверью, авось, тут останутся целыми, ведь после отъезда Размахова сегодняшний вор кинется ломать двери вагончика, а сюда заглянуть не догадается.

В день своего первого приезда Размахов, бродя среди куч мусора, поднял кирпич, на одной стороне которого была выдавлена фамилия владельца завода. Находка ему понравилась, и он о ней не забыл: принёс из машины целлофановый пакет, положил в него кирпич и подумал, что этот раритет можно будет использовать как подставку под горячую посуду, получится простенько и со вкусом.

Водой из ведра Сергей сполоснул руки, охлопал со штанов и рубахи пыль и медленно прошёлся по погосту. «Обихожённые могилы, — подумалось ему, — укажут тем, кто станет восстанавливать храм, на погребения, которые необходимо будет привести в порядок... Надо будет и мне на девять дней съездить на могилу к отцу, заеду туда завтра, по пути домой».

Колпаков ждал Сергея, сидя на лавочке возле ворот своего дома, который был ещё крепок и построен хозяином с расчётом не на одно поколение наследников. Двор был от крыльца наполовину заасфальтирован, а на другую половину до коровника, птичника и свинарника покрыт плотно утрамбованным слоем песка и мелкой гальки, над которым был сооружён навес, как и над переходами от крыльца к бане, белому амбару, погребу и дровянику.

— В избе душно и от мух спасу нет, — сказал Пётр Васильевич. — Посидим под яблонями, в этом году они уродились чудо как хороши, особенно папирка!

За домом находилось дощатое сооружение, которое можно было назвать летней кухней, где имелись небольшая газовая плита, старенький холодильник и кухонная утварь. Колпаков был большим любителем устраивать навесы, то же он сделал и здесь, над большим столом и двумя почерневшими от времени скамейками.

Николай Петрович, сын хозяина, выглядел молодо, хотя ему было уже за пятьдесят, носил шкиперскую бороду, золотые очки, и Размахов не ошибся, посчитав его за интеллигента, что тот сразу и подтвердил, умело раскурив пенковую трубку. На Сергея он глянул мельком и без всякого интереса. Тот это заметил и слегка осерчал, потому что недолюбливал тех, кто корчит из себя невесть что, а сам пуст как барабан.

— Это мой старший, — сказал Колпаков. — Учёный, я те дам! Кандидатскую написал, что бога нет.

— Моя диссертация не об этом, — снисходительно сообщил Николай Петрович. — Она против того, чтобы сравнивать веру с научным знанием как способом постижения бытия. Современная техника, создание новейших технологий и многое другое — всем этим мы обязаны научному знанию, религия толкует о каком-то непостижимом человеческому разуму существе, от которого современному человечеству нет никакой видимой пользы.

— Как, Алёшка, готовы караси? — крикнул Колпаков мальчику лет десяти, который приглядывал за шкварчавшей на плите огромной сковородкой. — Ты, Сергей Матвеевич, понял, что сказал мой учёный сын?

— Как же, понял и ничуть не удивлён, — сказал Размахов, усаживаясь на указанное ему за столом место. — Он верит в демократию, многопартийность и гласность. Я не ошибся?

— Нисколько, — остро глянул на гостя Николай Петрович. — Сегодня Россия получила беспроигрышный шанс стать свободной.

Пётр Васильевич уже позванивал вилкой о бутылку, привлекая к себе внимание.

— Сейчас, где только двое соберутся, так сразу разговор о политике. А между тем караси стынут и сохнут.

— Что-то мне второй день везёт на выпивку, — сказал, поднимая стаканчик, Сергей. — Вчера Анна Степановна потчевала, сегодня у вас в гостях.

Сметана отбила от карасей неприятный привкус обитателей донной тины, они были безупречно вкусны с лучком и укропом, которым была присыпана и разваристая картошка. Сергей проголодался и усердно приналёг на закуску, особенно на карасей, и скоро перед ним образовалась значительная горка рыбных костей. Он виновато глянул на Колпакова.

— Сгребй их в чашку, — улыбнулся Пётр Васильевич. — Человек стоит твёрдо на двух ногах, прими и вторую стопочку.

Поколебавшись, Размахов последовал этому совету, но закусил не рыбой, а салом и картошкой. Николай Петрович съел всего лишь одного карасика и сидел, покуривая свою трубку и иногда поглядывая на Сергея, который от водки расхорохорился и отвечал ему тем же, но помалкивал и угощался крупным и сладким крыжовником.

— А что, Анна Степановна тебе телеграмму показывала? — сказал Колпаков.

— Честно говоря, я был ею поражен. Сорок второй год, немцы на Волге и такое получить от самого Сталина. Невероятно!

— Я эту телеграмму видел, когда в школе учился, — оживился Николай Петрович.

— Пропаганда, типичная пропаганда!

— А вот в этом, Николай, хотя ты и учёный, я с тобой не соглашусь, — возразил Пётр Васильевич. — Пропаганда — это голимое враньё, а Анне продукты привезли, обувку и одёвку для ребятишек. Она о своей телеграмме Сталину молчала до его смерти, уже после народ узнал обо всём.

— Всё равно, это пропаганда, — покраснев, заявил Николай Петрович. — Ну, выжили её ребятишки, а кем стали? Валюшка раз пять в тюрьме сидел, да так в ней и умер. Дочери мать бросили...

— Это уже другой сказ, — перебил сына Колпаков. — Я от Сталина претерпел по полной. Не скрою, желал ему худа. Но сейчас я на него совсем по-другому смотрю и понимаю, что окромя того пути, каким он шёл, другой дороги не было. После него генсеки пошли — один плюгавей другого, им ли править Россией? Мишутка Меченый со своей бабой совладать не может, она вместо него всем рулит, а это даже в доме беда, а что говорить, если такое в государстве?

Николай Петрович, выслушав отца с усмешкой, которую умело прятал в бороде и прикрывал трубкой, утвердительно произнёс:

— Вы, Сергей Матвеевич, конечно, согласны с моим родителем.

— Дался всем на язык этот Сталин! — почти рассердился Размахов. — Почти полвека, как он умер, а его всё грызут и грызут. Зачем? Так называемые разоблачения диктатора стали ядом, которым отравлено уже не одно поколение. Я в своё время тоже переболел этим и понял, что страна, где люди идут в будущее с головой, обращённой в прошлое, обречена на самоистребление. Народ чувствует эту угрозу, и поэтому, чем громче и лживее разоблачают Сталина, тем крепче он за него держится и возвеличивает и тем спасает себя самого.

Николай Петрович был опытным спорщиком и знал, что отца и Размахова он не переспорит, потому что они имеют о Сталине своё собственное, а не вычитанное в перестроечных изданиях мнение, но Сергей его заинтересовал как редкий экземпляр самородного консерватора.

— Стало быть, вы противник перемен? Разве вас не убеждает даже то, что сейчас происходит в Москве?

— Очень даже убеждает, но только не в том, что вам хочется, — с горечью вымолвил Размахов. — Мне всю жизнь вдалбливали в башку, что существует некий коллективный разум масс, но последние события демонстрируют коллективную дурь советского народа. Вы, Николай Петрович, член партии?

Прямой вопрос учёному не понравился, он заёрзал на скамейке и нервно пробормотал:

— В общем, да. Я — коммунист, но какое отношение это имеет к предмету нашей дискуссии?

— Самое непосредственное. Я, конечно, неправ: народ может быть ослабевшим, обманутым, но только не дураком. Он руководствуется не разумом, а инстинктами, которые посильнее марксизма-ленинизма. Народ — это живой организм, вроде дождевых червей, которые, когда им тепло и сыро, бесщётно плодятся, когда же студёно, впадают в спячку, а то и гибнут. Но кроме этих двух крайних состояний существуют болезни, и любой народ порой заболевает как телесно, так и духовно. Так вот сейчас в стране около двадцати миллионов коммунистов, они ведь тоже народ, даже самая его, как утверждал Ленин, передовая часть, увы, давно насквозь прогнившая, готовая отречься от идеалов коммунизма и переступить через присягу, которую давал каждый, вступающий в партию. Двадцать миллионов предателей, двадцать миллионов повреждённых изменой души — это такая уйма заразы, гнили, такая бездна безнравственности, что в неё может ухнуть вся Россия... На днях я слушал демократический бред известного межрегионала Треплинского, который призывал всех, в первую очередь русских, покаяться за семьдесят четыре года советской власти. Я не против, пусть, кто хочет, тот кается, но если говорить серьёзно, то грех предательства покаянием не снимается...

— Крепко он тебя уел, Николай! — воскликнул Пётр Васильевич. — В самую точку. Я помню, как ты возмущался, что тебя мурыжат и не принимают в партию, потому что

райком недобрал работяг. Нет, ты должен помнить, — продолжал напирать отец, — как я тебе говорил: не наступай в это дерьмо, так ты не послушал, влез-таки в партию. А нынче где она? Наш первый секретарь дёру дал, Горбачёв, слышно, тоже сбежал. Слава богу, тебе, сын, есть где голову прислонить. Дом ещё крепкий, на твою жизнь хватит, — Николай Петрович вскинулся, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и, взяв со стола нож, подошёл к подсолнуху и срезал ему голову. — Вот это правильно, — одобрил Пётр Васильевич. — Тебе, Николай, только и остаётся, как сидеть на заваulinке и плеваться семечками. Может, и поймёшь, в чём твоя беда.

— И в чём же она? — вспыхнул Николай Петрович.

— Ты, Николай, и подобные тебе умники отбились от своего народа, как овцы от стада, и рады всякому встречному, даже волку.

— Извини, папа, но в тебе говорит пренебрежение мужика к высшему образованию.

— Это у тебя — высшее образование? — насмешливо глянул на сына Колпаков. — И в чём оно выше моего — крестьянского, ссыльного и фронтового?.. Ты много книжек прочитал, не спору. Но нашёл ли ты в них правду?.. Вижу, не нашёл и никто не найдёт, пусть он будет хоть сам Ленин.

— А как же так называемая ленинская правда? — счёл возможным заметить Размахов.

— Вот-вот! — обрадовался поддержке гостя Николай Петрович. — Значит, и ленинской правды не было?

— Сказать такое — значит признать, что нет правды у народа, — нахмурился Пётр Васильевич. — В семнадцатом она наружу и выперла, но никто, кроме Ленина, на неё не откликнулся.

— И что же это за правда? — усмехнулся Николай Петрович. — Земля, мир?..

— Божеская справедливость. Она для народа главнее всего.

Николай Петрович стал, посвистывая, снаряжать табаком свою трубочку.

— Ленин и божеская справедливость? Это какое-то недоразумение. Послушать, папа, тебя, так Ленин выше самого бога.

— Для мужика они наравне до сей поры были. Скоро многие от Ильича отрекутся. Однако его правда никуда не денется, потому что Россия уже вторую тысячу лет на ней стоит.

— Опять правда! — горячо воскликнул Николай Петрович. — Была одна божеская правда, теперь о какой правде ты говоришь?

— Как о какой? — спокойно сказал отец. — О своей правде, о мужицкой, крестьянской. Она одинаковая и с божеской, и с ленинской. Тебе, Николай, я вижу, это непонятно и чуждо. Но, кажись, у тебя будет возможность во всём этом разобраться и очень скоро.

— Мне и сейчас всё понятно, — буркнул Николай Петрович.

— Станет понятно, когда поживёшь с народом. Новой власти твой марксизм-атеизм не нужен. На пенсию в городе не прожить, вот и переезжай ко мне. Припащем к огороду ещё соток десять и будем картошкой заниматься, можно и кролей держать. И поймёшь, что жить в деревне проще и легче, чем бултыхаться в городе.

— 3 —

Размахов покинул дом Колпакова поздно вечером, когда уже вокруг лампы, включённой над столом, толпился качающийся столб слетевшихся на свет мотыльков, а вокруг стало непроглядно темно, и от огорода потянуло росной сыростью. После третьей стопки водки, которую хозяин обязал выпить гостя на дорожку, чтобы не спотыкаться, старик разоткровенничался и ударился в воспоминания, которые подкреплял показом жёлтых фотографий. Сергей слушал его и удивлялся жизнестойкости этого человека, выжившего и в нарымской ссылке, и на фронте, и в каторжном лагере, но не утратившего способности радоваться жизни и сохранившего, несмотря ни на что, вполне лояльное отношение к советской власти.

— Как я могу её обгавкивать, когда за неё воевал? — удивился Пётр Васильевич, когда сын напомнил ему о репрессиях. — Я при ней родился, стал жить, женился, тебя и твоих сестёр родил, до правнуков при ней дожил, и что же — теперь должен от неё отказать? Может, я, сын, и поглупел от ветхости, но сердца ещё не лишился. Понимай как хочешь: твоя правда, что власть меня гнала и гнобила, но тем и запала мне в душу, с ней и уйду отсель, а там — как господь рассудит.

Николай Петрович вспыхнул, но с отцом спорить не стал, взял своего внука за руку и ушёл спать. Размахов почувствовал себя неловко и поднялся из-за стола.

— Я машину у вас оставлю, а утром приду.

— Вот и хорошо, — согласился хозяин. — За неё не беспокойся, я цепь удлиню, и кобель к ней никого не подпустит.

Выйдя с освещенного электричеством двора заворота, Сергей попал в непроглядную темь и, сделав несколько шагов, остановился, немного постоял, зажмурившись, и, открыв глаза, ощутил, что над ним колеблется свет. Он запрокинул голову и восхитился: свободное от облаков тёмно-серое небо пульсировало множеством звёзд, которые то сгущались до белесого тумана Млечного пути, то соединялись друг с другом в загадочные узоры. Сергей уже давно не оказывался один на один с величайшим из чудес природы и ощутил, как вдруг вострепетала его душа, оживлённая своим родством со всей звёздной Вселенной, в которой ей предстоит пребывать после окончания земного пути бесконечную вечность. Вглядываясь в небо, он чувствовал, что оно — вовсе не безжизненная огненно-ледяная пустыня, а нечто живое и внимающее биению его сердца и восторженно-трепетным всплескам души. И чем пристальнее Сергей вглядывался в скопления звёзд, тем явственнее ощущал на себе ответный взгляд, от которого в сердце вспыхивало зовущее неведь куда беспокойство. Он безотчётно сделал шаг вперёд и попал ногой во что-то мягкое и ещё тёплое. Размахов понял, что это такое, и расхохотался, и рядом с ним зашевелилось и стало подниматься с земли нечто тяжело вздыхающее и громоздкое. «Корова!» — понял он. Бурёнка, задев его жёстким боком, прошла мимо, ударив по руке грязным хвостом.

Похохатывая, он забрёл в мокрую от росы траву на обочине, очистил полуботинки от коровьего шевяка и направился по тропинке через кусты к храму, чей тёмный силуэт был хорошо виден на фоне звёздного неба. Вокруг было тихо и пусто, и Сергей слышал только свои шаги, он уже был в десяти шагах от вагончика, как что-то упало на землю, затем послышался топот убегающего человека. Размахов озорно засвистел ему вслед, но кто это был, не заметил и выбросил этот случай из головы. У вагончика мог шастать кто угодно, скорее всего, тот, кому было любопытно в нём пошариться и разжиться мешком цемента, топором или лопатой.

Встав на приступку, Размахов оглядел замок и убедился, что он цел, отомкнул и распахнул дверь, чтобы проветрить вагончик. Знакомое ему брёвнышко лежало на месте, Сергей присел на него и прислушался к звукам позднего вечера. Где-то неподалёку раздавался шум от движка грузовой машины, который становился всё слышнее, внезапно сначала по стене храма, а потом и по вагончику полоснули ярким белым светом автомобильные фары. Тяжелогружённый «газон» медленно протащился мимо, завернул в проулок, надрывно подвывая, стал подниматься на взгорок, его фары качнулись кверху и двумя снопами света скользнули по крышам домов, вершинам деревьев и погасли.

Вино никогда не веселило Сергея, и от трёх стопок он впал в задумчивость, а потом и загрустил. Несколько последних дней были для него нелёгкими, и, хотя он по характеру был спокойным и уравновешенным, неудача с храмом и особенно смерть отца отложились на сердце двумя болезненными зарубками. «Как-то не так я живу, — думал Сергей, — совсем не так, как все нормальные люди. Сколько себя помню, всё что-то ищущу, надеюсь, что кто-то явится и объяснит мне, в чём смысл моей жизни, в чём моё счастье. Но никто не явился, и может быть, нет на свете у человека ни смысла жизни, ни счастья, а так — унылая колготня и пустяшное беспокойство духа».

Мимо него, прошумев крыльями, пролетела ночная птица, и Сергей, вспомнив о голубе, подумал, что завтра нужно будет о нём не забыть и, если дастся в руки, то взять его с собой в город. Внезапно неподалёку раздался голоса и смех, это закончился в колхозном доме культуры киносеанс и зрители, выйдя на улицу, делились впечатлениями о фильме и прощались друг с другом до утра. Их появление Размахов воспринял как укор себе: эти люди были довольны всем, что ни давала им жизнь, они просто жили, как живёт всё живое, подчиняясь здравому смыслу, который народом почитается как четвёртая ипостась православного бога. К несчастью для себя, Размахов был склонен усложнять жизнь и по всякому, порой даже ничтожному, поводу заглядывал себе в душу, тормошил её, не ведая, что она сама, в случае необходимости, очнётся от дрёмы и нашепчет ему верные слова.

Сергей посмотрел на наручные часы, которые уже начали отмеривать новые сутки, поднялся и, зайдя в вагончик, закрыл за собой на задвижку оббитую железом дверь. Наощупь нашёл лежак, сел на него, снял обувь, ослабил ремень на поясе и прилёг, вытянувшись во весь рост, на жёсткую подстилку, примостившись головой на скомканную куртку. В вагончике чувствовалось лёгкое движение горячего воздуха, днём солнце крепко нагрело железную крышу, и сейчас она источала приятное тепло, которое убаюкивало Сергея и навевало обволакивающую усталое тело истому, постепенно переходящую в дремоту.

Незаметно для себя он провалился, как в яму, в беспокойный и мутный сон, который был схож с приступом горячки. Сергей ворочался с боку на бок, иногда поднимал голову и вновь ронял её на скомканную куртку, ему было жарко и душно в закрытом наглухо вагончике, где не было ни одного продуха, но проснуться и открыть дверь он

не мог, потому что не имел сил перебороть тяжкий морок сонного беспамьяства, пока его не встряхнул крепкий удар в железную крышу обрушившейся от сильного порыва ветра толстой ветки осокоря.

Размахов вскинулся с лежака, наощупь, по стенке, подошёл к двери, распахнул её настежь и жадно задышал, остужая нутро холодным сырым воздухом. Ветер дул сильными порывами, и, откликаясь на них, деревья возле храма и в школьном саду начинали шуметь, роняя пожухшую листву и ослабевшие ветви. Сергей переступил порог вагончика и сбросил с крыши обломок осокоря, почувствовав, что его приятно освежило дождевой пылью, которая вскоре перешла в мелкий и частый дождик. Не закрыв дверь, он вернулся в вагончик, лёг на подстилку и скоро уснул под перестук капель на железной крыше.

Дождь длился недолго. Порывы ветра, который к утру ещё более усилился, разметали дождевые тучи, небо очистилось и начало мало-помалу светлеть. Однако на земле было ещё темно, хотя уже приближалось время первых петухов, и пустынно, пока где-то не взбреднула спронея собака, учуявшая человека, который осторожной воровской поступью, прячась за деревьями и кустами, пересёк сквер возле сельсовета, перебежал дорогу и направился к храму. «Погоди! — зло нашёптывал он. — Я тебе сделаю козью морду!»

Возле вагончика человек остановился, прислушался, огляделся и, подобрав доску, подпёр ей дверь, за которой находился Размахов. «Погоди! — прошипел злодей. — Я тебе дам прикурить». И он стал поливать дверь и стенку вагончика бензином из трёхлитровой банки, которой так размахался, что она выскользнула из рук и вдребезги разбилась о верхнюю приступку лестницы. Неудача ошеломила поджигателя, он заторопился, сунул руку в куртку за спичками, но коробок запутался в мешковине кармана, наконец, злоумышленник вырвал его наружу, выхватил несколько спичек, зажгёт их и швырнул к двери. Через мгновение более половины вагончика охватило пламенем, которое затрепетало, поднялось огненным столбом и отразилось в окнах изб, обращённых в сторону храма.

Чутко спавшая Анна Степановна увидела пожар и, не одеваясь, в одной ночной рубашке, простоволосая, кинулась через улицу к Колпакову.

— Горим! Храм горит! — завопила она, стуча в окошко. Старик распахнул створки.

— Чему там гореть? Кирпичам? — старик на мгновенье задумался и переполошился. — Это вагончик горит! Николай! С Сергеем беда! А ты, Степановна, беги к фершалке, пусть поторопится на пожар. Господи! Какая беда!

Кое-как одевшись, отец и сын Колпаковы выскочили из дома и поспешили к храму, на мгновенье задержавшись возле пожарного щита близ сельсовета. Николай снял с него багор, Пётр Васильевич — топор, но поспеть за сыном не смог, тот оказался раньше всех возле обгоревшего вагончика, отбил от двери обугленную доску, заглянул внутрь и увидел лежавшего на полу возле выхода Размахова. Николай Петрович отшвырнул в сторону багор, подхватил Сергея на руки, отнёс его в сторону, положил на землю и беспомощно оглянулся по сторонам. Где-то невдалеке слышался хрип и кашель задохнувшегося от спешной ходьбы отца, а возле паперти стоял Федька Кукуев с ведром воды в руке.

— Пить, — разомкнул покрытые волдырями ожогов губы Сергей.

Николай Петрович вскочил на ноги, в несколько шагов достиг Федьку, вырвал у него из рук ведро и вернулся к Размахову. Кружки под рукой не было, и доцент стал тонкой струйкой лить воду в разомкнутые губы пострадавшего.

— Как он? Дышит? — задыхаясь, прохрипел Пётр Васильевич. — Осторожнее, чтобы не захлебнулся.

Николай Петрович отстранил ведро, и Размахов тотчас захрипел и задёргался, затем простёр руки вверх и, едва шевеля обгоревшими до мяса пальцами, выдохнул:

— Пить...

— Дай ему воды, только немного, — сказал Пётр Васильевич. — А я побегу к Романову, пора и власти на ноги подымать. Знать бы только, кто это сотворил!

— Может, Федька? — предположил Николай Петрович.

— Он на такое не способен. Но подсказать может. Он, хоть и дурак, но глазастый, — Пётр Васильевич поспешил к дому председателя сельсовета и по пути встретил Анну Степановну. — Худо, шабёрка, — махнул рукой старик. — Обгорел Сергей крепко. А где фершалка?

— Мужа поднимает, чтобы завёл и подогнал к храму «санитарку».

— Что же она к пострадавшему не торопится? — возмущился Колпаков.

— Как не торопится, вон она!

Колпаков недовольно буркнул и прошёл мимо фельдшерицы, не ответив на её приветствие. Уже заметно развиднелось, и деревня была занята утренними хлопотами. Романов в глубоких галошах на босу ногу выгнал с подворья корову с нетелью и

закрывал за ними ворота.

— Беда, председатель! — кинулся к нему старик. — Городского в вагончике кто-то поджёг, и он обгорел почти до смерти.

— Калистратовна! — сказал Романов проходившей мимо соседке. — Прихвати и моих коровёнок в стадо.

— Надо участкового звать, — вздохнул Пётр Васильевич. — Костька Хоботов хоть и глуп, но, глядишь, что-нибудь раскопает.

Совет был дельным, и Романову он понравился тем, что ответственность за «ЧП» можно было переложить на милицию, собственно, это и было её прямым делом — расследовать преступление.

— Куда участкового слать? — спросил Романов.

— К храму, рядом с ним всё и случилось.

— Так я и знал, что добром эта затея с церковью не кончится, — сказал председатель. — Теперь точно корреспонденты, как мухи на падаль, налетят. Свои-то ещё ладно, но могут из Москвы явиться, как же — несознательные колхозники устроили теракт против демократии.

— А ты часом ничего не напутал, Романов? — засомневался Пётр Васильевич. — Какой теракт? Против какой демократии?

— Той самой, которая из Москвы попёрла по всему Союзу, — скривился председатель. — Пойду звонить. Только бы этот Хоботов был дома.

О пожаре возле храма вскоре стало известно многим жителям Хмельовки, и, когда Колпаков подошёл к обгоревшему вагончику, вокруг него толпились люди, Размахов лежал на простыне, фельдшерица срезала с него обгоревшие лохмотья рубахи и брюк, и выглядел он ужасно: особенно сильно пострадали от огня руки, плечи, шея и грудь. Кожа на этих местах была красно-чёрной от ожогов, и фельдшерица там, где было можно, накладывала сухие повязки, а большие участки повреждений закрывала кусками белой ткани.

— Как он? — спросил Колпаков у сына.

— Пока жив, ему сделали какой-то укол.

К храму подъехал «уазик» с красным крестом на боку, из него вышли шофёр и участковый. Хоботов был одет по всей форме, с пистолетом и сумкой через плечо и смотрелся очень серьёзно. Явный поджог с покушением на жизнь человека, которое вполне могло закончиться смертью потерпевшего, было преступлением такого рода, с коим участковый столкнулся впервые, но он не растерялся и приступил к осмотру того, что осталось от вагончика, и сразу же наткнулся на осколки стеклянной банки, которые захрустели под его яловыми сапогами. Хоботов нагнулся, взял осколок, обнюхал его со всех сторон и радостно произнёс:

— Это же бензин!

Это сообщение было встречено молчанием, и только Фёдка Кукуев что-то залопотал и дёрнулся из рук матери, но та не дала ему двинуться с места. Тем временем фельдшерица оказала пострадавшему первую помощь и велела мужу принести носилки. Николай Петрович, Хоботов и шофёр взяли за края простыни, на которой лежал Размахов, и положили его на носилки. Это потревожило Сергея, и он очнулся.

— Пить.

Фельдшерица поднесла к его губам бутылку с водой.

— Несите в машину.

Шофёр и Николай Петрович подняли носилки и направились к «уазу», а впереди их пролетел соскользнувший с вершины храма голубь, который сел на ветку осокоря и встопорщил крылья. Из всех, кто был свидетелем этого происшествия, только старик Колпаков воспринял его как знак свыше и истолковал близко к истине:

— Не своя беда парню досталась. На этом месте должен быть его отец. Но кто знает: может, господь спас его погубленную грехами родителя душу через огненное крещение?

Никто не обратил внимания на бормотание старика, все во все глаза глядели, как носилки с пострадавшим грузят в машину, и только участковый не выпускал из виду Фёдку Кукуева. Мать тянула дурака за руку домой, а он упирался и не хотел уходить. Отмахнувшись рукой от ядовитого выхлопа отъехавшей «санитарки», участковый поспешил к Фёдке.

— Говори, что видел?

— Ничего он не знает! — запротестовала мать. — А если и видел, кто поджёг вагончик, то какая ему вера, он ведь убогий. Ищи, Костя, свидетелей в другом месте.

— Пусть он намекнёт только, кого видел, — не унимался участковый. — А показания с него я снимать не стану.

— Никого он не видел! — отрезала мать и потащила упирающегося сына прочь.

Хоботов удалению свидетеля не воспрепятствовал, он озаботился по другому поводу:

трупа на месте преступления не имелось, и случившееся было делом не следственной бригады, а участкового, и нужно было произвести необходимые розыскные действия — осмотр места преступления, сбор вещественных доказательств, допрос свидетелей.

— Пойдём, Николай, пока нас не записали в очевидцы, — сказал Пётр Васильевич.

— Костя ведь дурак, но при нагане и, стало быть, имеет власть.

Доцент послушно последовал за отцом, он был до глубины души потрясён тем, что случилось с Размаховым. Не прошло и восьми часов, как тот ушёл из их дома, здоровый и весёлый, не ведая, что судьба уже приготовила для него страшную беду. «Он ведь ужасно мучился, — ощутив, как его пробрал озноб, подумал Николай Петрович.

— О чём он в этот момент думал? Или человек ничего не чувствует, кроме ужаса, когда начинает гореть заживо?»

И доцента осенила очень простая, но обидная мысль, что философия, которой он посвятил всю свою жизнь, добился успехов в научной карьере, написал несколько монографий, не даёт ответа на вопрос — за что человеку, явно ни в чём не виновному, без всякой на то причины приходится испытывать адскую боль и смертельный ужас?

— 4 —

Зуев, приняв какое-нибудь решение, сразу же загорался желанием выполнить его как можно скорее. Так было и с женитьбой. После недолгого разговора с Размаховым все его сомнения враз улетучились, и Родион скоропалительно уверовал, что без памяти влюблён в молодую соседку своей тётки и был готов жениться на ней немедленно, поэтому в свой дом он влетел как на крыльях, расцеловал мать, отдал ей городские подарки, вытащил из-под кровати чемодан и принялся укладывать в него брюки, рубашки и прочие мелочи, чтобы было во что переодеться в первое время на новом месте жительства.

— Ты куда это, Родя, засобирался? — всполошилась мать. — Только приехал и опять куда-то наладился.

Эти слова несколько остудили Зуева. Он бросил галстук на кровать и задумался, как сообщить матери, что женится, чтобы это не стало для неё болезненным потрясением. Она, конечно, иногда заговаривала с ним о женитьбе, но это были беспредметные и нравоучительные беседы, в глубине души мать страшилась, что сын женится, ведь это в первую очередь означало для неё невозможную утрату, потому что невеста откуда являлась посторонняя женщина и предьявляла на её дитя права собственности.

— Что же ты молчком собираешься? — сказала мать, и в её голосе послышалась слёзная обида.

— Пока говорить нечего, — Зуев обнял её за плечи. — Тётя Варя приглашает переехать к ней жить. Ты ведь понимаешь, что здесь мне работу не найти.

— Всё равно ты всего не договариваешь, — сказала мать. — И с чего это Варвара так раздобрилась? Берёт тебя к себе, а раньше об этом не заговаривала.

— Наверно, хочет мне помочь, — стараясь не глядеть в глаза матери, сказал Родион. — Она всегда меня привечала.

Ложь во имя душевного спокойствия матери далась ему без особых затруднений, хотя он не способен был даже на малейшую неправду. Но сейчас вот соврал и не поперхнулся, чтобы уехать завтра без материнских слёз и обиды, что сын покидает её из-за вступившей привязанности к малознакомой женщине.

Вечер Зуев провёл за сборами в дорогу, но мыслями был уже в городе и понемногу уже начинал трепетать от одного только воспоминания о том, что было минувшей ночью. Завтра ему предстояло пойти в отношениях с Галей до крайней точки, и это пугало, потому что у Зуева не было никакого опыта интимной близости с женщиной.

Чтобы успокоиться, Родион принялся колоть дрова и махал колуном до темноты, пока не стемнело, а потом включил во дворе свет и переносил все поленья в сарай, крепко устал, но добился главного — уснул, как только головой прикоснулся к подушке, спал без сновидений и встретил утро в радостном настроении.

По привычке он включил радио: заваруха в Москве ещё не закончилась, но успех уже был на стороне Ельцина, из столицы начали выводить войска, и москвичи бурно ликовали по случаю уже близкой победы демократии.

— Какой день уже бакуши бьют, — сказала мать, подавая сыну стопку выглаженных рубах и нижнего белья. — Если всем по среднему заработок закрывать, так никаких денег не хватит. Деревня хлеб убирает, чтобы кормить этих дармоедов, а они всё ходят да кричат, а что им надо, я никак в толк не возьму.

— Что тут непонятно? — Родион выключил радио. — Требуют каждый для себя счастья и свободы.

— Как этого можно требовать? — удивилась мать. — Разве свобода и счастье тоже дефицит, который можно занять только по благу из-под прилавка? Я думаю, это начальство воду мутит. Как бы войны не было.

Зуев воткнул в розетку вилку электробритвы. «Войны, конечно, не будет, — мысленно ответил он матери, — но резня вполне может случиться, и как бы из Союза не получился Афганистан».

Он попрыскал на себя из пульверизатора одеколоном, растёр ладонями щёки, подбородок и шею и только после этого почувствовал, что окончательно проснулся. Сборы были недолгими, и, выпив кружку молока с хлебом, Родион подхватил чемодан, торопливо поцеловал мать и вышел на улицу. Его беспокоило, что Размахов до сих пор не приехал, и он решил пойти на автостанцию, чтобы отправиться в город на рейсовом автобусе.

Пройдя по переулку, он вышел на проезжую улицу и увидел «уазик», который притормаживал, чтобы свернуть в сторону его дома. Зуев поднял руку, машина остановилась, и из неё высунулся Колпаков.

— Беда, начальник! Сергея Матвеевича подожгли в вагончике, и он сильно обгорел. Садись в машину, и поедem в больницу.

— Как же такое случилось? Кто поджигатель? — взволнованно воскликнул Родион.

— Участковый копает, но и без него ясно, кто, — сказал Колпаков. — Федька Кукуев указал на одного, но как докажешь? Дурака в свидетели суд не примет.

— А вы, стало быть, на его машине? — сказал Зуев, открывая дверцу.

— На его. Вечер оставил у моего дома. Сейчас не знаю, как от неё избавиться.

Использовать размаховский «уазик», чтобы съездить в больницу, предложил Николай Петрович. Отец с ним согласился, ему не хотелось держать на своём дворе чужое имущество, и было решено, что сын отгонит машину в город и поставит на стоянке до выздоровления хозяина. Теперь, когда они встретили Зуева, часть забот можно было переложить на него, но Родион был Колпаковым недоволен и счёл нужным заметить:

— Командиром взвода я был, а вот в начальники попасть не сподобился.

— Не обижайся, — сказал Колпаков. — Я ведь по привычке: как в своё время научили недобрые люди, так иногда и сорвётся с языка, когда не знаешь, как обратиться к человеку.

— Меня зовут Родион. А что, Сергей сильно обгорел?

— Вроде что так, — вздохнул Пётр Васильевич. — Но врачи скажут.

Больница находилась на краю райцентра и состояла из нескольких зданий, огороженных забором из бетонных плит, между больничными корпусами имелись асфальтированные дорожки, достаточно широкие, чтобы по ним могла проехать машина.

— Это не наша «санитарка»? — указал Николай Петрович на «уазик» возле кирпичного здания.

— Она, — подтвердил Колпаков. — Я думаю, что Сергея здесь не оставят, а повезут в город, в ожоговый центр.

Они приехали как раз вовремя: из широких дверей показалась каталка, на которой лежал Размахов, накрытый простынёю, рядом с ним шёл врач и хмельёвская медсестра.

— Как он? — сказал Зуев. — Сильно обгорел?

Врач, не ответив, осмотрел кабину «санитарки» и помог шофёру погрузить пострадавшего в машину.

— Его не осматривали, чтобы не травмировать, — сказала медсестра. — Сделали уколы, чтобы не случилось шока до приезда в ожоговый.

— И ты, Катя, его повезешь? — спросил Колпаков.

— Пока он мой больной. Хорошо ещё, что врач с нами будет, ему надо в облздрав.

Зуев напряжённо вглядывался в тряпичный кокон, внутри которого находился Размахов, и, может быть, лучше других понимал, в каком ужасном состоянии находится Сергей. В кабульском госпитале он видел обожжённых напалмом, горевших в подбитых бронетранспортёрах и танках людей и был свидетелем их смертных мук, зачастую переходивших в агонию, почти неизбежно заканчивающуюся смертью, которая являлась как спасение от невыносимых страданий.

— Мы должны проводить его до областной больницы, — сказал он, обращаясь к Николаю Петровичу.

— Согласен, но куда я потом дену машину. У неё на дверцах нет ни одного замка.

— Во двор моей тётушки, — сказал Зуев. — У неё есть гараж, а свой «Москвич» она отдала сыну.

— Вот и хорошо! — обрадовался Пётр Васильевич. — Поезжайте, а меня посадите возле автостанции.

Пока они разговаривали, «санитарка» выехала за больничную ограду, но Николай настиг её сразу за райцентром и поехал следом.

— Будем вести себя смирно, — сказал он. — Надеюсь, гаишники не будут останав-

ливать машину, которая сопровождает санитарку.

— Вы рискуете правами, — сказал, поняв опасения доцента, Зуев. — Но в угоне вас вряд ли заподозрят.

До города, а затем и до областной больницы они доехали без происшествий. В приёмном покое Размахова оформили после небольшой заминки. При нём не оказалось документов, но Зуев быстро обшарил машину и в бардачке нашёл деньги и паспорт, который, записав все необходимые данные, ему вернули.

— Вот и решилась проблема с гаражом, — сказал он. — Поедем по его адресу.

— Это совсем недалеко, — заглянув в паспорт, сказал Николай Петрович. — Почти в центре. Я этот дом знаю.

Доцент давно не водил машину, и дорога его утомила. В квартиру Размахова он подниматься не стал, и Родион, взойдя по широкой лестнице некогда элитного дома, преодолел смущение и нажал кнопку дверного замка.

— Вам кого? — сказал парень, в котором Зуев тотчас углядел размаховские черты.

— Это квартира Размахова?

— Да, его, — сказал парень и, повернувшись, крикнул: — Вера Петровна! Тут папу спрашивают.

— Он в отъезде, — сказала, выходя в прихожую, седовласая статная женщина. — Вы с его работы?

— Нет, — смутился Зуев. — Я из Хмелёвки, где Сергей Матвеевич восстанавливал церковь.

— Какую церковь? — удивлённо всплеснула руками Вера Петровна. — Да вы входите, вот сюда, на кухню. Не разувайтесь, здесь не прибрано. Каждый день новости. Позавчера Олег приехал, удивил меня, теперь вот вы. Значит, Серёжа — какой молодец — восстанавливает церковь? Или что-то не так? Почему вы на меня так странно смотрите?

Приносить в чужой дом чёрную весть всегда трудно, Родион собрался с силами и тихо вымолвил:

— Сегодня ночью загорелся вагончик, где он жил. И Сергей Матвеевич сильно пострадал. Сейчас он находится в ожоговом центре областной больницы.

Вера Петровна опустила на стул и безутешно разрыдалась.

— Какое несчастье! Только отца схоронил, и с ним такая беда!

Со двора донёсся автомобильный сигнал.

— Мы приехали на его машине. У него гараж есть?

— Во дворе, — сказала Вера Петровна и указала на ключ, висевший на гвоздике возле двери. — Его гараж справа. Олежек, проводи и сразу возвращайтесь. А я пока позвоню в больницу.

Николай Петрович загнал «уазик» в гараж и, простившись, удалился. Зуев ещё раз осмотрел салон машины и в кармане за сиденьем обнаружил ещё одну пачку десятирублёвок. Олег за ним не подглядывал, он уселся за руль и примерялся к педалям и рычагу коробки скоростей.

— Пойдём, парень, — сказал Зуев. — Бабушка из окна нас выглядывает.

— Это соседка, — сказал Олег. — Но с ней можно дружить.

Зуев пристально взглянул на него. «Странный парень, — подумал он. — Отец при смерти, а его это вроде и не кольшет».

Зайдя на кухню, Родион повесил на гвоздик ключ от гаража, выложил на стол паспорт Размахова и все, какие нашёл, деньги.

— Наверно, хотел потратить на церковь, — сказал он. — Но теперь они ему самому нужны. Да и парню на что-то жить надо.

— Сергей мне деньги оставил, — сказала Вера Петровна. — А эти я запроу в комод. Может такое случиться, что ему придётся к московским докторам ехать, а те денежки любят, — она поставила на стол чайные чашки, варенье в блюде и печенье. — А вы сами как знаете Серёжу? — спросила Вера Петровна, когда Зуев основательно приложился к чаю. — У вас в городе есть где остановиться?

— У меня здесь живёт родная тётя, — и он посмотрел на Олега. — В этой квартире, кроме хозяина, кто-нибудь прописан?

— Я поняла, что вы хотели сказать, — оживилась Вера Петровна. — Завтра же займусь его пропиской.

— Моя тётя долгое время была начальником паспортного стола, — сказал Зуев. — Если надо помочь, то я оставляю её номер телефона.

— Большое спасибо, — она взялась рукой за чайник. — Налить ещё?

— Не надо, — отказался Родион. — Мне надо идти. Завтра я с утра пойду в больницу, а после позвоню вам.

— Ах ты, господи! — спохватилась Вера Петровна. — Совсем дырявою стала память. Мне сказали, что врач освободится через пятнадцать минут, а я и забыла, — она

вышла в коридор к телефону и скоро вернулась, явно огорчённая тем, что узнала. — Состояние стабильно тяжёлое. Пока никаких посещений и продуктовых передач.

На этот раз серьёзность положения, в котором находился отец, стала доходить и до сына.

— Что с ним? Он выздоровеет?

— Будем надеяться на лучшее, — тихо промолвила Вера Петровна. — А я завтра в церковь пойду, кроме как там, искать помощи простому человеку сейчас нигде.

— 5 —

Во время пожара Размахов испытал и перенёс ни с чем не сравнимые боль и ужас. Их не облегчило даже временное беспомощество, он всё видел и всё чувствовал. Однако его мучения только начались. Видимый огонь на нём затушили, но ему всё казалось, что он продолжает гореть — это пылало нестерпимой болью повреждённое пламенем тело, гортань перехватила неодолимая сухость, язык одеревенел, глаза невозможно было даже приоткрыть, поскольку кожа на верхней части лица пострадала особенно сильно и веки прикипели к глазницам.

Невыносимая боль временами полностью затмевала его сознание, и когда доцент вытащил его из вагончика, он провалился в кромешную тьму, за которой начинается человеческое небытие, но организм изо всех сил сопротивлялся уничтожению. К счастью, на помощь успела медсестра и сделала несколько спасительных уколов, после чего ощущение огненной боли притупилось, и она на какое-то время стала восприниматься как болезненный жар, у него почти до сорока градусов поднялась температура, и неповреждённые части тела покрылись потом. В полубессознательном состоянии его привезли в районную больницу, где укрепили уколами и, не осматривая, срочно отправили в областной ожоговый центр.

Под влиянием обезболивающих лекарств Размахов впал в сумеречное состояние, в котором пробыл до тех пор, пока не очнулся в операционной, где начали снимать повязки. И Сергей опять погрузился в пучину невыносимой боли, потому что каждую повязку, хотя их и смачивали тёплой водой, приходилось снимать вместе с кожей и мясом, и он несколько раз терял сознание, но за ним приглядывали и поддерживали жизненный тонус своевременно введёнными лекарственными препаратами. Сняв повязки, переменили простыню и стали протирать обширные, а кое-где и глубокие, ожоги салфетками, смоченными раствором аммиака. Потом всё осушили свежими салфетками, обработали и наложили марлевые повязки. Ему стало чуть легче, но он не догадывался, что эти болезненные процедуры ему предстоит терпеть каждый день.

К концу первой недели чувствовать себя лучше Размахов не стал. Он лишь кое-как притерпелся к страданиям, которые скоро отяготились часто повторяющимися кошмарными сновидениями о том, что ему пришлось пережить в ту страшную огненную ночь. В них он видел себя рядом с вагончиком, снова явственно слышал, как мимо храма проезжает тяжело нагруженный «газон», который поднялся по переулку на взгорок, осветил вокруг фарами и пропал из виду. Скоро раздались голоса возле клуба, из которого выходили после киносеанса люди, он услышал над собой шум крыльев и понял, что это пролетел его голубь, затем почувствовал духоту вагончика и особенно остро то, как железная крыша источает накопленный за день жар. Размахов открыл дверь и освежил своё нутро прохладным сырым воздухом. Шёл мелкий и частый дождик, Сергей лёг на лежак и скоро окунулся в сон, который действительно ему привиделся в ту огненную ночь.

Ему снилось, что он идёт к своему храму, который сияет белоснежной отделкой стен, голубыми рамами окон, зеленью крыши и золотом возглавного креста, поднимается на паперть, и дедушка Колпаков отворяет перед ним двери. И Сергей, неуверенно осенив себя крестным знаменем, переступает порог и видит, что внутри храм совсем не обустроен и находится в запустении и разрухе. И только остатки росписи на стене и сохранившийся купол напоминают о том, что когда-то здесь люди славили господу и чаяли от него вечной жизни. Сергей делает несколько шагов по каменному полу, и его вниманием завладевает столп света, который падает из окна в сторону алтаря на то место, где когда-то находился престол, и над самым святым в храме местом кружит и кувырывается, вспыхивая радужным оперением, голубь. Размахова охватывает восторг, он простирает руки, ожидая, что голубь подлетит к нему, присядет на плечо и заворкует. Но неожиданно голубь взрывается как световая граната и превращается в огненный шар, который обрушивается на Размахова обжигающей темнотой и беспомощностью.

Через два дня, очнувшись от кошмарного сна, Сергей вдруг вспомнил, что горел не в храме, а в вагончике. Сомнения всё-таки оставались, и он через медсестру вызвал лечащего врача.

— Что тут у нас? Я вижу, что вы совсем молодцом.

— Где я обгорел? — задыхаясь, прохрипел Размахов.

— Разве это имеет какое-нибудь значение?..

— Имеет...

— В истории болезни об этом не сказано. Постарайтесь забыть то, что с вами случилось. Вам предстоит непростое и длительное лечение, поэтому сосредоточьтесь всю свою волю на своём выздоровлении.

Через неделю Размахов несколько окреп, даже начал разговаривать, и врач разрешил допускать к нему посетителей. Вера Петровна и Олег пришли к нему первыми.

— Лежи, Серёжа, и помалкивай! — встревожилась соседка, когда он дёрнулся, чтобы обнять сына. — Нам врач строго-настрого наказал, чтобы ты говорил как можно меньше, поэтому помолчи.

— Как вы там? — медленно произнёс Сергей, и у него на глаза навернулись слёзы.

— У нас всё нормально, — сказала соседка, выкладывая на тумбочку свёртки с продуктами. — Я вычитала, что пострадавшие от огня должны усиленно питаться, поэтому принесла тебе то, что посытнее: грудинку, курочку в духовке приготовила, сметану. Сейчас я тебя покормлю.

От мясного Сергей отказался, попросил сметану, съел в охотку почти стакан и запил соком.

— Худо, Олежка, что отец у тебя стал калекой. А тебя ведь ещё учить надо. В школу записался? Иди в ту, где английский язык.

— Я прописался, — сказал сын, доставая из кармана паспорт. — А в школу пойду завтра.

— Как там, в милиции, — не тормозили пропуску?

— У нас город не режимный, — сказала Вера Петровна. — Прописка свободная, была бы жилплощадь.

— Вот и хорошо, что прописался, — помолчав, вымолвил Сергей. — Если со мной вконец станет худо, то будешь с квартирой.

— Не думай о плохом...

— Погоди, Вера Петровна. Дай успеть сыну сказать... Слушай, Олег, надейся во всём только на себя и никогда не совершай того, что противно твоей совести... К счастью, деньги у тебя на какое-то время есть, должно хватить года на два.

— Твою машину и деньги вернул твой знакомый, Родион. Он сегодня хотел к тебе прийти, но врач сказал, что хватит одного посетителя в день. Юра Уваров звонил, он тоже скоро у тебя будет.

Последних слов Размахов уже не слышал, он опять погрузился в свой огненный сон, которых в действительности было два, и они переплетались друг с другом, и от этого ещё больше запутывали Сергея. Но когда ему одно и то же приснилось несколько раз подряд, он уверовал, что горел именно в церкви. И произошло это не случайно.

«Я уснул в вагончике, — думал Размахов. — Помню, проснулся от духоты, открыл дверь и снова уснул. И тут произошло необъяснимое: каким-то образом, может, даже в лунатическом состоянии я пришёл в храм, и там всё это и произошло. Скорее всего, во время грозы в церковь влетела шаровая молния, в ней-то, пока она не взорвалась, я и узрел своего голубя».

После сна ему стало чуть-чуть легче, и, слегка повернув голову то в одну сторону, то в другую, он увидел только стену и широкое окно, в котором раскачивались ветки тополя. Его шевеление заметил сосед по койке и спросил:

— Что, к тебе вчера сын приходил?

— Он. А ты ходячий?

— Не только ходячий, но и, страсть какой, побегучий, — рассмеялся сосед. — Я здесь уже в седьмой раз лежу, сейчас вот к пластической операции готовлюсь.

— Если здесь есть зеркало, то дай мне в него поглядеться.

— Зеркала здесь нет, но я своё прихватил, — сказал сосед. — А что смотреть, ты же весь упакован в бинты и простыню.

После небольшой паузы скрипнули кроватные пружины, послышалось шарканье, и в глаза Размахова брызнул отражённый луч солнца.

— Поднеси поближе, — попросил он.

В зеркале отразились забинтованное лицо, руки и глаза, которые Сергей не признал за свои и, лишь моргнув, понял, что они принадлежат ему, но в них не было искорки жизни. «Я выгляжу как смертный приговор, — определил без всякой жалости к самому себе, Размахов. — Собственно, я сейчас нахожусь на грани между живым и неживым».

— Как, красавчик, нагладелся? — Сергей не ответил, и сосед, шаркнув тапочками по полу, заскрипел кроватными пружинами. — Ты, мужик, не стесняйся, если что надо, то говори. Я ведь в твоём положении полгода отвалился. И ты не мякни. Даст бог,

поправишься.

Сергей не ответил, ему невыносимо, до горячих слёз, стало жаль себя, поскольку на пороге смерти любой человек, в силу инстинкта самосохранения, больше всего страшится расставания с собой, ведь, умирая, он, в первую очередь, теряет самого себя, а уже затем — родных и близких. Уходящему из круга живых в его последние минуты ни до кого нет дела, всё его внимание обращено на самого себя, потому что ему предстоит совершить самый главный поступок своей жизни — принять таинство смертного преображения, пройти к будущей жизни через полосу огненной тьмы, которая очищает душу от всего земного.

Всем людям не избежать этого испытания, но у каждого оно случается по-своему. Для Размахова очищение огнём началось в полном сознании, он понимал всё, что с ним происходит, но до конца ещё не догадался, кто погрузил его в огненную купель, чтобы очистить душу от скверны, после чего он станет достоин посмертного счастья единения с Богом.

Слёзы затмили Сергею глаза, он шевельнулся, хотел поднять руку к лицу, но смог только сбить со стула возле кровати пустую кружечку. Сосед поднял её, глянул на Размахова и вздохнул:

— Зря казнишь себя. То, что должно было случиться, уже случилось. Радуйся тому, что жив. Погоди, я сейчас промокну тебе глаза салфеткой.

Слова участия приободрила Размахова, и он попытался пошутить:

— Вот, не было счастья, так несчастье помогло: промыл глаза плачем и стал нормально видеть.

— Слёз стесняться не надо, я тоже плакал, даже выл, когда меня привезли сюда.

— Где тебе не повезло.

Сосед поморщился и громким шёпотом сообщил:

— Пошёл в кладовку со свечкой за спиртом и уронил огонь в полную трёхлитровую банку. Хотел свояка попотчевать, а ему пришлось спасать хозяина и тушить пожар.

Даже короткий разговор утомил Размахова, и он погрузился в полудрёму, в которой слышал всё, что происходит вокруг. Скоро к соседу пришла жена и забрала его на прогулку в больничный сад. Санитарка распахнула окна палаты и, шлёпая мокрой тряпкой, протирала пол и ворчала на больных, которые были для неё неряхами и грубиянами. Возле тумбочки санитарка обнаружила пустую баночку из-под сметаны и прочитала Сергею нотацию, на что он отреагировал лёгкой улыбкой и замечанием, что у неё очень приятный голос. Санитарка опешила и, не зная, как отреагировать на сомнительную похвалу, шлёпнула мокрую тряпку на пол и принялась протирать проход, задевая своей внушительной кормой койку.

Вечером дежурная санитарка торопливо покормила Сергея рисовой кашей, но он не насытился и удивился своему аппетиту. Обычно больные едят мало и неохотно, а на него напал жор, и он окликнул соседа:

— Помоги, брат, поесть.

— Не проблема. Сейчас организуем застолье. Моя Люба помидоры принесла, а у тебя что? Так, курочка, как раз к помидорам. Не худо бы к такой закуси соточку, но это не про нас. Я как хлебнул горящего спирта, так и зарёкся.

Курица и помидоры пришлись Размахову по вкусу. Он, не торопясь, съел грудку, большой мясистый помидор, подождал, когда сосед дожует куриную ногу, и поинтересовался:

— Стало быть, ты с пьянкой завязал?

— Не было счастья, так несчастье помогло. Ведь до этой беды меня жена и грызла, и ласкала, чтобы я пить бросил, всё без толку. Нашему брату, чтобы избавиться от дурной привычки, надо обязательно получить чем-нибудь тяжёлым по бестолковке, чтобы в ней колесики завертелись в правильном направлении. А ты крепко бухал?

Но Размахова в палате не было, насытившись, он опять погрузился в свои огненные сновидения, скрипя зубами и вздрагивая, переживал всё, что с ним случилось, и очнулся уже вечером, когда в палате включили свет и она наполнялась торопливым лиственным шумом, который волна за волной накатывался из полукрытого окна. Где-то совсем рядом была жизнь, и выпавший из неё почти целиком Сергей остро затосковал о том, что вряд ли удастся дожить до первого снега, погрузиться в его молодящую тело и душу свежесть, попробовать на вкус, в конце концов, слепить голыми руками снежок и запустить им в дверь гаража во дворе своего дома.

Постоянно пребывающее в огне сердце Размахова заподрагивало. Он заскрипел зубами и беззвучно заплакал, и скоро его глазницы наполнились слезами, которые он кое-как сумел промокнуть полотенцем, но не досуха, и свет уличного фонаря дробился в его глазах, рассыпаясь на множество искр, которые можно было принять за снег, и это видение Сергея заворожило и успокоило.

– 6 –

Расставшись с Верой Петровной, Зуев сел на трамвай и всю дорогу до тётушкиного дома размышлял, куда ему идти — к ней или к Галине. Выйдя на остановке, он, не торопясь, дошёл до знакомого подъезда, постоял и скорым шагом двинулся туда, где его ждало угощение «горячими пирожками», а их, судя по её нетерпеливому нраву, у молодой женщины было приготовлено для Родиона в избытке.

Побывавшему не раз в опасных переделках боевому офицеру оказалось непросто преодолеть шесть лестничных маршей до нужной квартиры. Перед Галиным этажом поставил чемодан на площадку, поднялся на несколько ступенек, выглянул на лестничный марш и тотчас поспешил обратно, потому что где-то наверху хлопнула дверь, и кто-то дробно застучал каблуками по бетонным ступенькам. Это была школьница, которая, потряхивая большими белыми бантами, пробежала, на ходу поздоровавшись, мимо Зуева, а он, поняв, что глупо торчать перед дверью, взялся за ручку чемодана.

Смотрового глазка на двери не было, но Галя распахнула дверь без задержки, и по её радостно засиявшему лицу он понял, что она счастлива его видеть.

— Вот, приехал...

— Заходи, Родя, — защebetала Галя. — Я тебя сегодня с утра в окно выглядываю, но занялась стряпнёй и проглядела.

— Может, я потом найду, — нерешительно произнёс Зуев. — Где сынишка?

— Я одна-одинёшенька! — засмеялась Галя и потянула его за рукав. — Сын в садике.

В прихожей, когда за ним захлопнулась входная дверь, Родион почувствовал себя увереннее и, поставив чемодан на пол, шагнул вперёд, они обнялись, и Галя, отступая шаг за шагом, повлекла его в спальню, где Зуев, торопливо раздевшись, испробовал впервые в жизни «пирожок» с начинкой сладчайшего восторга, который только дан человеку природой.

— Ты, Родя, сегодня пришёл ко мне сам не свой, — сказала Галя. — Может, что случилось?

— Хороший человек в беду попал, — и Зуев рассказал ей про Размахова. — Почему так жизнь несправедливо устроена: хорошие люди мучаются, а негодяи живут припеваючи?

— Ах, Родя! В жизни всё рядом — и хорошее, и плохое. Я смотрю только на её светлую сторону, а что там, в тени, меня ни капельки не интересует. Конечно, жаль твоего друга, но своей тоской ты ему не поможешь. Может, ему лекарства будут нужны, так у меня блат в аптечном управлении.

— Он сильно обгорел, — мрачно сказал Зуев. — Я видел таких в Афгане, долго они не живут, но мучаются, не приведи господи!

Галя была не склонна говорить об этом и увлекла Родиона приготовлением к праздничному обеду, которым решила отметить его вселение в квартиру. Зуев вызвался сходить в магазин и получил в руки список всего, что нужно купить, и вместе с ним увесистый кошелек.

— У меня деньги есть.

— Вот и хорошо, что есть, — сказала Галя. — Они тебе пригодятся, а это расходные на прожитие. Там же талоны на масло и колбасу, — она придирчиво его оглядела и подвела к зеркалу. — Пиджак никуда не годится, а брюки пока сойдут за первый сорт.

— Что ты затеяла? — удивился Зуев.

— Погоди, — она достала из шкафа пиджак яркого малинового цвета. — Это тебе.

— Мне? — поразился Зуев. — Но он, как это сказать, не мужской расцветки.

— А вот и неправда, очень даже мужской пиджак, как сейчас стали говорить — для крутых ребят.

— Ты где его взяла?

— Как где? Ты что, забыл, что я модистка? Я первый такой пиджак сшила для Подростка.

— Для какого ещё подростка? — не понял Зуев.

— Один из самых крутых в городе. Сейчас, Родя, время пришло для таких, как они. А чем ты их хуже? Офицер, афганец. В этом пиджаке тебе всюду будет дорога, так что обнови его немедленно.

Зуев облачился в малиновый пиджак, глянул в зеркало и остался доволен: Галя на глазок угадала его размер, и пиджак сидел на нём, как влитой, и его цвет уже не показался ему таким крикливо-вызывающим, как с первого взгляда.

Прихватив пару пустых авосек, Родион спустился вниз, вышел на улицу и направился в магазин путём, сторонним от тётушкиных окон. Ему не хотелось попадаться ей на глаза, чтобы не отвечать на прямые вопросы, которые бывший

начальник паспортного стола умела ставить так остро, что они Родиона вгоняли в краску своей откровенностью. Но это у неё получалось не от испорченности милицейской службой, а от привычки говорить всегда правду.

Продуктовый магазин был Зуеву знаком, будучи в гостях у тётушки, он здесь неоднократно бывал, и обычно в нём имелись товары и покупатели. Но, войдя в торговый зал, он поразился пустым прилавкам и малолюдству. Не было даже водки, одни ряды консервов, овощных и рыбных, молочные пакеты и бутылки, макаронные изделия, грязная бочка с постным маслом, дешёвые сигареты и хлебобулочные изделия — всё это Родион охватил одним взглядом и, вздохнув, развернул записку с Галиным заказом. В нём значился один продукт, который можно купить свободно — поваренная соль в серых килограммовых пачках.

В молочном отделе по талонам он приобрёл восемьсот граммов масла, в мясном — кило двести «Докторской» и отправился в овощной павильон. За картошкой была очередь, и Зуев встал за мужиком, который явно страдал с похмелья: краснел и потел, источая вокруг себя такое похмельное амбре, что все от него отворачивались.

— Мне десять килограммов и, будьте добры, помельче, — продавщица сыпанула в грязный лоток из ящика картошку, бухнула её на весы. — Девушка, я просил, чтобы помельче, — недовольно пробрюзжал мужик.

— Не хотите — не берите! — озлилась баба. — Кто следующий?

— Вот же у вас мелочь стоит, полный ящик.

— Это отбраковка.

— Вот и взвесьте её мне.

Очередники возмущённо зашумели, раздалось несколько негодующих возгласов.

— Обрато не приму! — заявила продавщица и насыпала мужику картофельной мелочи большую продуктовую сумку. В ответ он победно огляделся по сторонам и радостно выпалил, глядя на Зуева:

— Учись, парень, жить! Теперь моя, когда очистит эту мелочь, хренушки отправит меня в другой раз за картошкой. Замучается чистить!

В очереди зашумели, кто-то обозвал мужика жестокой скотиной, но он, всё так же победно поглядывая по сторонам, подмигнул Сергею и понёс картошку домой.

— Тебе тоже мелкой? — спросила продавщица.

— Нет, мне покрупнее, — сказал Зуев. — Я сам чищу.

За час, который он отсутствовал, Галя успела накрыть стол, переодеться, позвать на торжество гостью, и когда Зуев появился в квартире, тётушка его обняла и расцеловала.

— Надо же, решился! А мы с Галей думали, если ты сегодня не явишься, составить группу захвата и взять тебя в твоём райцентре штурмом. Что это ты купил? Картошку? Молодец, Родя, не слушай тех дураков, которые палец о палец не ударят, чтобы помочь жене по дому.

— В продуктовом — шаром покати, — сообщил Зуев. — Но талоны я отоварил.

— Я их не всегда использую, — сказала Галя. — Меня пока клиенты уважают.

Зуев посмотрел на стол и сглотнул слюну: такого угощения ему не то чтобы пробовать, видеть не приходилось.

— Любовь да совет! — провозгласила Варвара Ильинична, чокаясь с молодыми.

— Живите и не слушайте тех, кто стонет, что жить плохо. А когда в России было всем хорошо? Мы не Голландия, где людей поштучно, как гладиолусы, выращивают. У нас в народе сорняков полно, им то это не по нраву, то другое. А вы живите для себя и, бог даст, для своих детей. Горько!

Тётушка долго засиживаться не стала, попробовала всего помаленьку из того, что было на столе, и покинула молодых, прихватив после Галиных уговоров ассорти из тех блюд, за которые особенно усердно хвалила хозяйку. Зуев проводил её до дверей подъезда, вернулся в квартиру и, выпив рюмку водки и закусив, выразительно глянул в сторону спальни. Галя в ответ улыбнулась так призывно и многообещающе, что Зуев, без лишних слов, подхватил её на руки и, жадно целуя, устремился к кровати.

Следующий день они начали с того, чем закончили вечер, затем позавтракали, и Зуев, помявшись, сказал:

— Как бы я от такой жизни не разбаловался. Пойду в отдел по трудоустройству.

— Что они тебе предложат — сто рэ. Берись за кооператив.

— Я в этом деле господин дерево.

— Можно подумать, что все кооператоры умники! Надо арендовать помещение. Лучше в центре. Сходи к своим афганцам, они и чернобыльцы сейчас в городе многим крутят. Где-то у афганцев есть своя организация, вот туда и сходи. Под лежачий камень вода не потечёт.

Галя отвела сына в детсад, вернулась и показала Зуеву все документы, которые собрала, чтобы создать кооператив: вырезки из газет и журналов с правовыми актами, всякие справки, образцы заявлений в надзирающие органы. Родион за пару часов со

всем познакомился и понял, что одному с этим не справиться, нужна помощь. Галя вновь напомнила ему про афганское братство. О нём мог знать танкист Нечаев, с которым Зуев познакомился в госпитале. Поколебавшись, он нашёл в записной книжке номер телефона соратника по «Антибюрократическому центру». Нечаев был дома, и они быстро столковались, где и во сколько им встретиться.

Галя не выпустила Родиона из квартиры без придирчивого осмотра. К малиновому пиджаку она подобрала фиолетовую рубашку, а на шею Зуева, весьма его этим смутив, возложила золотую цепочку с золотым, с финифтью, крестом. Он хотел запротестовать, но, взглянув на себя в зеркало, промолчал: что-то в новом облике ему пришлось по душе. Родион, несмотря на боевое прошлое, ещё не избавился от мальчишества, и, когда ему представилась возможность вообразить себя киношным героем, он за неё ухватился.

К башне с городскими часами Зуев подкатил на такси. Нечаев уже был на месте встречи и, увидев Родиона, удивился:

— Тебя и не узнать! Прикидывался тихоней, а теперь возьми тебя за рупь двадцать, с золотой цепью и в крутом прикиде.

— Ерунда! — отмахнулся Зуев. — Потолковать бы надо. Где тут можно приземлиться?

— Это запросто, — сказал Нечаев. — Мой комбат — хозяин кафе, оно за углом, — в заведении его хорошо знали и обслужили без задержки. На столике появились небольшие рюмки для коньяка, лимон, кофе. — Мы с тобой не виделись всего ничего, — сказал Нечаев. — Но что случилось? Ты сейчас совсем не похож на бывшего старлея, которого я затащил на лекции московского демократа.

— Честно говоря, я антибюрократов выбросил из головы. А ты всё с ними тусуешься?

— Что же тебя заставило сменить убеждения? — не отступал Нечаев. — Сейчас, после подавления путча, антибюрократы могут в области и городе сделать почти всё. Отступников открывает в облизполкоме двери ногой. Мудосарова раскрутила свою газету.

— Пусть тешатся, — Зуев понизил голос. — Я сменил не убеждения, а образ жизни.

— Не понял, это как?

— Женился! — провозгласил Зуев и подозвал официантку. — Подайте бутылку шампанского.

— Погоди, я позову комбата.

Свидание с афганцами слегка затянулось. Но выпито было совсем немного. Зуев не забыл, зачем сюда явился, и, приглядевшись к комбату, выложил свою просьбу насчёт аренды помещения. Майор тут же провёл Родиона в свой кабинет, вызволил чиновника горисполкома, который занимался нежилыми помещениями, и быстро с ним столковался о приёме на следующий день Зуева по вопросу аренды. Родион поинтересовался, сколько это будет стоить? Оказалось, что есть пятьсот целковых, цена, по уверению бывшего комбата, вполне божеская, потому что с нового года всё будет многократно дороже.

Зуев никогда не давал взяток и вошёл в горисполком с большой опаской, как шпион на встречу с представителем центра. Нужный ему кабинет находился на втором этаже, он взглянул на часы: до встречи с чиновником осталось две минуты, и заторопился. Других просителей у кабинета не было, Зуев уже хотел постучать в дверь, но она отворилась, и хозяин кабинета протянул руку:

— Если вы ко мне, то давайте паспорт. Другие документы потом, — внимательно рассмотрев фотографию на документе и сличив её со слегка растерянной физиономией Зуева, чиновник пригласил его в кабинет. — Вы знакомы с условиями получения аренды?

— Так точно, — по-военному чётко ответил Зуев.

— Давайте их сюда, — чиновник заглянул в конверт с деньгами и сунул в ящик стола. — А теперь, Родион Игнатьевич, порешаем ваши вопросы...

Из трёх предложенных вариантов Зуев, вместе с Галей, выбрал помещение, которое находилось практически в центре. На согласование всех вопросов ушло ещё две недели, и каждый день был заполнен суетой с оформлением бумаг, поездками то к пожарникам, то в горгаз, то в электросети, то в санэпидстанцию, без своих колес Родион вряд ли управился бы, но «жигулёнок» шестой модели был на отличном ходу и обеспечил первопроходцу капитализма необходимую мобильность.

Зуев был крепко занят своими делами, даже поездку к матери с молодой женой отложил на неопределённый срок, пока не уладит все дела с открытием кооператива. Он и Вере Петровне позвонил лишь потому, что Галя вдруг поинтересовалась здоровьем Размахова.

— Ему стало полегче, но всё ещё очень плох, — сказала соседка. — Его готовят к

операции.

— Он обо мне не вспоминал? — спросил Зуев. — Может, какие лекарства надо достать.

— Серёжа мало чем интересуется. Но посетителей к нему уже пускают. А про лекарства надо узнать у лечащего врача, мне он ничего не говорил.

Зуев положил трубку на телефон и посмотрел на Галю.

— Завтра поедем на пару дней к моей маме, — сказал он. — А после возвращения съездим к Сергею.

— Я чувствую, что тебя в больницу не тянет.

— Ты права, — помедлив, сказал Зуев. — Я в Афгане всяких «двухсотых» посмотрелся, а Размахов, если и ждёт кого-нибудь, то, конечно, не меня.

На следующее утро Зуев проснулся в дурном настроении, осторожно, чтобы не потревожить жену, поднялся с кровати и прошёл на кухню. Кофе его взбудрил, но душевное спокойствие не вернул, и он, подойдя к окну, посмотрел на свою «шестёрку», припаркованную возле подъезда, взял авоську, положил в неё кусок колбасы, лимон, шоколадку, стараясь не шуметь, открыл входную дверь и покинул квартиру.

Новый аккумулятор помог завестись движку сразу, Родион дал ему поработать вхолостую и стал протирать запотевшие стёкла. Хлопнула входная дверь, он обернулся и увидел жену, которая, прикрыв наготу плащом, выскочила из квартиры следом за ним.

— Ты куда?

— В больницу к Размахову. А ты что подумала? — сказал Зуев. — Испугалась, что убегу?

— Мне стало страшно. Проснулась, а тебя нет, — жалко улыбнулась Галя.

«Она меня любит», — самодовольно подумал Зуев, наблюдая в зеркало заднего вида, как жена машет рукой ему вслед. Две недели семейной жизни пролетели для него одним махом, и Галя ни в чём не обманула его в своих обещаниях. Она всегда и во всём, особенно перед незнакомыми людьми, подчёркивала, что её муж — голова затеянного кооперативного предприятия, а она — всего лишь помощница и советчица, и такой семейный расклад Зуева вполне устраивал.

Было раннее утро, но Родион, ставший за несколько дней пробивным и настойчивым, не сомневался, что в палату пройдёт без всяких затруднений. Его малиновый пиджак и поблескивающее на шее золото ослепили больничную службу, и только на этаже, где размещался ожоговый центр, дежурная медсестра слабо вякнула: «Вы куда?» Но тотчас сникла в своей наполовину стеклянной будке.

После подъёма прошло уже около часа, и в палате санитарка помогала беспомощным больным промыть глаза и облегчиться.

Зуев наклонился к Размахову.

— Сергей...

— Не ожидал меня увидеть таким?

Зуев пододвинул стул к койке и присел.

— Что врачи говорят?

— Ничего хорошего не обещают, — слабым голосом произнёс Размахов. — К операции готовят.

— Когда операция?

— Завтра. Ты возьми в тумбочке виноград и дай мне. Что-то сушит горло... А ты изменился, хотя, может, этот пиджак тебя переменял.

— Я женился, — сказал Зуев. — Помнишь, я об этом говорил.

— Нет, не помню, но поздравляю. Свадьба была?

— Через месяца три, ближе к Новому году гульнём. И ты к этому времени поправишься. Были бы кости, а мясо нарастёт.

— Вряд ли, — прошептал Размахов. — Впрочем, всё на волоске.

— Может, тебе лекарство какое нужно? — заговорил Зуев, чтобы ободрить Размахова. — У моей Гали связи в аптекоуправлении. В конце концов, пусть тебя отправят в Москву. Сейчас медицина добилась многого — сердце пересаживают, недавно кому-то кисть руки пришили. Сейчас наука уже близка к тому, чтобы удлинить жизнь человека вдвое, до ста пятидесяти лет...

Зуева остановили хлюпающие звуки, которые стал издавать Размахов. Родион наклонился к нему и по глазам понял, что тот смеётся.

— Это здорово, что человек будет жить вдвое дольше, только как жить? — Сергей глянул на Зуева. — Заменят ему сердце, почки, даже голову, но кто ему другую душу даст, кроме бога?.. Над душой доктора не властны, они даже уверены, что её нет вовсе.

Размахов заворочался на скрипучей кровати, издавая звуки, которые можно было принять и за смешки, и за всхлипывания. Родион поднялся со стула и озабоченно наклонился над ним.

– Тебе что-нибудь надо?

– Мне уже ничего не надо, – сказал Сергей. – Этой ночью я понял, что со мной происходит и через что мне предстоит пройти.

– Может, не будем о грустном? – весело сказал Зуев. – Я на все сто уверен в твоём выздоровлении.

Из-под марлевой повязки, покрывающей почти всё лицо Размахова, опять послышались булькающие звуки.

– Этой ночью я понял, что нахожусь за порогом жизни, в том самом промежутке, который отделяет её от смерти. Ты знаешь, что такое смерть?

– Я о ней никогда не думал и не хочу думать, – пробормотал Зуев. – Даже в Афгане не думал о ней.

– Я знаю, что моё преобразование началось не так, как у других людей это происходит – после смерти, – хрипло выдохнул Размахов. – Ведь я не просто обгорел, а наполовину освободился от кожаных одежд; врачи возле меня хлопчут, но они не в силах возродить мою плоть, которая мешает высвободиться из неё душе. Ты бы им сказал, чтобы они не мучили меня, оставили в покое...

– Я этого не слышал, Сергей, – сказал Зуев. – А ты этого не говорил. Ты просто обязан выздороветь.

Размахов часто задышал и закрыл глаза. Родион подвинулся к нему и поднёс к растрескавшимся губам винограднику.

– В человеке с часа его рождения что-то да умирает, – сказал Размахов. – Но он живёт до тех пор, пока его душа не покинет тело. А её на привязь не посадишь, придёт срок, и улетучится.

Закончить разговор им не дала старшая медсестра, которая властно скомандовала, чтобы посторонние покинули помещение. Начинался утренний обход больных лечащими врачами, и Зуев, облегчённо вздохнув, простился с Размаховым и торопливо покинул больничную палату. Слова, сказанные Сергеем, разбередили его собственную душу, и она откликнулась на чужое горе слёзным постыдыванием о своей неизбежной участи – пострадать за грехи, которые человек совершает, не думая о последствиях. Но думал об этом недолго, до первого перекрёстка, где чихало, пыхтело и тарыхтело скопище машин, готовых ринуться на главную улицу города.

– 7 –

С приездом Олега жизнь Веры Петровны приобрела осмысленную полноту. Она приняла его как родного внука и стала относиться к нему со всей теплотой и заботливостью, чего тому всегда не хватало в своей семье, где мать уделяла всё внимание детям от второго мужа и к первенцу относилась с прохладцей, которую тот не мог не заметить. Во всяком случае, она его не избаловала, и, приехав к отцу, Олег вёл себя скромно, не паялся в телевизор, а принялся изучать устройство автомобиля, надеясь со временем оседлать отцовский «уазик». Сегодня, после школы, он опять засел в гараже, и Вере Петровне пришлось, открыв окно, звать его к столу.

– Олежек! – громко зывала она. – Пора в больницу, а ты ещё не обедал!

На первый зов он не откликнулся и лишь после третьего захлопнул книжку с описанием устройства автомобиля и показался на глаза хлопотливой соседке, которая, призывно махнув ему рукой, принялась накрывать на стол: поставила тарелку куриного супа с лапшой, гречневую кашу с котлетой, кружку компота и сдобную булочку. Вере Петровне нравилось глядеть, с каким аппетитом Олег поглощает приготовленные ею кушанья, в этом она видела одобрение своей работе, и другой похвалы ей было не надо.

– Завтра отца будут оперировать, – сказала она. – Я с утра уже в церкви побывала. А ты, Олежек, не молчи возле него. Сейчас ему твоё тёплое слово нужнее лекарства.

– Я хочу сказать, но как посмотрю на него, на ожоги и раны – и молчу, чтобы не заплакать.

– Плакать не надо, – сказала Вера Петровна. – Твои слёзы его напугают, он может подумать, что тебе плохо живётся.

– Мне здесь хорошо, – вздохнул Олег. – И в школе понравилось, только с английским беда.

– Вот об этом не говори, – испуганно произнесла Вера Петровна. – Однако нам пора, пока на трамвае доедем до больницы, и тихий час кончится.

Поднявшись на этаж, где размещался ожоговый центр, Вера Петровна отправила Олега в палату к отцу, а сама робко вошла во врачебный кабинет. Ставший хорошо знакомым лечащий врач оторвал взгляд от лежавших перед ним бумаг и приветливо улыбнулся.

– Как там с операцией? Не опасно?

– Палец занозить – и то опасно, – сказал врач. – Конечно, ваш больной – тя-

жёлый, но это обычная плановая операция. Постарайтесь его не беспокоить и не утомляйте, ему нужно набраться сил.

— Вы уж, доктор, постарайтесь, — промямлила Вера Петровна, неловко пытаясь засунуть в выдвинутый наполовину ящик стола завёрнутую в газету бутылку коньяка.

— Не надо, зачем вы так, — слабо запротестовал врач.

— Примите как благодарность, — прошептала Вера Петровна и торопливо покинула кабинет.

Она была женщиной слабонервной, и вручение подарка вызвало у неё усиленное сердцебиение, от которого удалось избавиться не сразу, и в палату Вера Петровна вошла побледневшей.

— Как себя чувствуешь? — прикоснувшись губами к щеке Сергея, сказала она. — Завтра похолодает, а это тебе облегчение. Этим летом жара измучила всех: и здоровых, и хворых.

Сергея напоминание о погоде обеспокоило, и он спросил:

— Как у тебя, Олежек, с верхней одеждой и зимней обувью?

— Зимнего у него ничего нет, — сказала Вера Петровна. — Но он парень рослый, и ему подойдут твои новые сапоги, дублёнка, свитера, куртка, а костюм для школы, рубашки, туфли мы с ним купим.

— Как в школе?

— Нормально, — сказал Олег. — Я, папа, хочу «уазик» освоить. Ты не против?

— Осваивай, только не разбери. Я лет в десять, пока отец был в командировке, пытался отремонтировать будильник. Разобрал, а собрать его и часовой мастер не смог. Ты, Олежка, вряд ли сам в машине разберёшься, но её ещё и водить надо уметь. В автошколе время от времени объявляют набор на курсы шофёров. Туда принимают только после восемнадцати лет, но машину можешь считать своей.

Размахов к увлечению сына отнёсся благожелательно, каждый приход Олега в больницу действовал на него благотворно, он выходил из полубреда, в котором находился почти всегда, и мог вести разговор. Сын чувствовал себя рядом с изувеченным отцом неуютно, смущался, отвечал на его вопросы словно нехотя, и было заметно, что он тяготится пребыванием в больничной палате. Размахов хорошо понимал, что это происходит не от душевной чёрствости Олега, а не что иное, как защитная реакция молодого и здорового организма на присутствие рядом больного и страдающего человека.

— На следующее лето, Вера Петровна, у тебя для поездок на дачу, к сожалению, не будет своего персонального водителя, — сказал Размахов. — А если серьёзно, то ты, Олег, решай, куда пойдёшь учиться. Бог отправил человека трудиться не в наказание, а чтобы он совершенствовал свою душу, и это происходит только через работу.

— Я в политехнический пойду, — сказал Олег. — Там учат на программистов.

Сергею решение сына понравилось тем, что тот не просто бесцельно взирает вокруг, но примеривается к жизни, пытается нащупать тот шесток, на который ему определено взлететь его судьбой. Одновременно он жалостливо подумал о себе, и у него были когда-то мечты, но пока готовился взлететь, топорщил крылья, время безвозвратно утекло, а тут ещё так некстати на него обрушилось несчастье. Сергей замолчал, его опять повлекло в сумеречное состояние, в глазах запылали багровосизые языки пламени, и он погрузился в беспокойный лихорадочный сон, который нёс его по отсвечивающей жаркими всполохами близкого пожара бескрайней реке памяти, из глубины которой вставали видения как прошлой, так и будущей жизни.

Вера Петровна и Олег покинули палату, Сергей этого не заметил и пришёл в себя только вечером, когда к нему пришёл Уваров, который посещал его каждые два дня. Обычно весёлый, на этот раз он явился хмурый и озабоченным какой-то ведомой только ему одному думой.

— Ну, как там? — сказал Размахов. — Судя по твоему похоронному виду, великого борца с привилегиями Ельцина наконец-то короновали?

— До этого дело ещё не дошло, но он уже где-то рядом с тронном верховного правителя России, или того обломка, который останется от развала Советского Союза, — Размахов тяжело вздохнул, заворочался и попросил воды. — Хочешь квасу? — предложил Уваров. — Мама только что сцедила.

Сергей согласно хмыкнул и облизал сухие губы.

— Ядрёный квасок, — сказал он, отстраняясь от опустошённой кружки. — Настоящий. Сейчас мало в жизни того, что можно назвать настоящим, то есть природным и коренным. Пожалуй, человек сейчас в состоянии подделывать всё, кроме смерти.

— Но жизнь ведь самая настоящая, — не согласился Уваров. — Человек обладает свободой воли, имеет право выбирать, как ему жить — во грехе или праведности.

— Ты, Уваров, так и не освободился от либеральных заморочек, — после некоторого молчания скептически произнёс Размахов. — Какая может быть свобода выбора

там, где всё фальшь и враньё, начиная от выроodka Горбачёва, заканчивая моим лечащим врачом, который, в общем-то, нормальный мужик, но врёт, что я вот-вот оденусь в новую кожу и доживу до пенсионного возраста.

Уваров встал со стула, прошёлся несколько раз возле кровати, затем огляделся по сторонам и достал из кармана стограммовую бутылочку коньяка.

— Ты не против?

— Должен же я хоть раз нарушить режим, — сказал Размахов. — Сядь спиной к двери, чтобы вовремя ликвидировать следы преступления.

Уваров опорожнил бутылочку в кружку, наклонился над Сергеем и помог ему выпить. От шоколада Размахов отказался.

— Не надо портить сладостью ощущение жизни, которое присутствует в настоящем коньяке.

— Вот видишь, — улыбнулся Уваров, — в жизни не всё фальшь, есть и настоящие вещи.

— Этой ночью со мной всё будет по-настоящему... Может, помнишь у Твардовского: «Я погиб и не знаю: наш ли Ржев, наконец?..» Вот и у меня та же боль: я уйду и не узнаю, что будет с Россией?

— Этого никто не знает, — сказал Уваров. — Советская власть, судя по всему, приказала долго жить, государство вот-вот рухнет в тартарары вместе с идеями всемирного братства и мирового коммунизма. А взамен ничего нет. И не будет. Вот смотри: в семнадцатом году были царь, дворянство, интеллигенция, буржуазия, служители культа, пролетарии и крестьянство. Сейчас ничего этого нет в помине, а есть нечто усреднённое — советский человек, завтра это будет уже бывший советский человек, у которого на уме только одно: удовлетворить свой аппетит как можно быстрее. Миллион москвичей во время путча на демонстрациях — это рабы аппетита, и нет такой идеи, которая могла бы их образумить и очеловечить.

— Зря ты так на москвичей, — сказал Размахов. — Или ты на народ в обиде?

— Ах, Серёжа! Если бы ты знал, как я любил, как боготворил наш народ, а он — баран, да, баран! Так называемый путч показал это во всей полноте.

— Стало быть, вчера ты любил народ, а сегодня — нет, — попытался поднять голову с подушки Размахов. — В своё время меня тоже мучили эти вопросы. А ведь на них ответили до нас: «У кого нет народа, у того нет и Бога!» Это и про большевиков сказано, и про тех выроdkов, что сегодня раскалывают державу на части, и про нас с тобой, Юра.

— Что ты имеешь в виду?

— А то, что все мы, кто с высшим образованием, способны скорее полюбить чужое, чем своё, да ещё этим бахвалимся... — Размахов часто задышал, покрылся крупными каплями пота, и Уваров, взяв полотенце, начал им размахивать, затем утёр лицо друга. — Одышка, — прошептал Размахов. — Знобит что-то.

— Может, позвать врача? — предложил Уваров. — У тебя же завтра операция, надо его предупредить, что ты простудился.

— Операции не будет. Времени у меня для неё нет. Да не тарасься на меня, я в своём уме. Всему своё время...

Размахов проснулся далеко за полночь. Больница жила своей жизнью: кого-то везли на срочную операцию, кого-то — с операцией, в коридоре ставили раскладушки и укладывали тех, кому не хватало места в палатах, кто-то стонал и метался в бреду, возле медпоста сестрички обсуждали новые модели обуви, а над кирпичным пристроен к больнице из трубы вился дымок. В котельной возле открытой топки стоял кочегар и бросал в неё отходы операционного производства. За эту работу ему не платили, он выполнял её за кружку спирта, которым скрашивал свою скучную кочегарскую жизнь. Опьянев, он выползал из дымного подвала на улицу и начинал петь: «Выйду на улицу, гляну на село: девки смеются, и мне весело!..» Пенье кочегара было похоже на вой, больные жаловались, что их беспокоят, и главный врач неоднократно предупреждал ночного солиста, но уволить его не мог, потому что на эту работу никто не шёл.

До сегодняшней ночи Размахов воспринимал соло кочегара с раздражением, но сейчас им не возмутился и понял, что тот не озорует, но изливает тоску своей закопчённой пьянством души по богу в разудалой песне, потому что не ведаёт ни одной молитвы. Где-то хлопнула рама, и чей-то строгий голос велел полуночнику заткнуть глотку, и за окном воцарилась тишина.

Прекратилась беготня в коридоре, но Размахов больше не пытался уснуть, он вдруг почувствовал, что на него, не мигая, кто-то смотрит в упор. Сергей осторожно повернул голову к окну, и ему сразу бросился в глаза тонкий ослепительно белый месяц, который плыл сквозь гонимые ветром тучи, как утлый чёлн по бурному морю. «Он ведь спешит за мной, — подумал Сергей, зачарованно глядя на его торопливое движение. — И я должен радоваться, что отправлюсь в бесконечность много раньше

других, коим ещё предстоит дожидаться очереди на своё посмертное счастье».

– 8 –

Кончина Размахова произошла для окружающих его больных и медперсонала незаметно. Утром санитарка подошла к его кровати, поставила на тумбочку чашку с тёплой водой, обмакнула в неё тампон, чтобы протереть глаза больному, и, вскрикнув, кинулась из палаты. Сначала прибежал один врач, затем другой...

– Отмучился! – сказал сосед по койке. – Ушёл и никого не потревожил.

Старшая медсестра известила Веру Петровну о смерти Сергея. Соседка от потрясения потеряла дар речи, и пока на кухню не пришёл Олег, привлечённый запахом сгоревшего лука, так и стояла возле газовой плиты с вытаращенными глазами. Он снял с конфорки сковородку, отставил в сторону и открыл форточку.

– Что с вами? Почему вы плачете? Что случилось?

– Беда к нам пришла, – прошептала, глотая слёзы, Вера Петровна. – Нет больше твоего отца и моего Серёженьки... Позвонили из больницы... Скончался. Что теперь делать будем? – и она безутешно зарыдала.

Олег слишком мало знал отца, ещё не сжился с ним, и известие о его смерти воспринял, не утратив рассудка. Он нашёл в записной книжке телефонный номер Уварова и сообщил ему о несчастье.

Вера Петровна проплакалась и с жалостью поглядывала на Олега.

– Что же теперь с тобой делать, сиротиночка ты моя? Так и не удалось тебе пожить с отцом, придётся обратно ехать к матери.

– Нечего мне там делать! – твёрдо сказал Олег. – Я для матери почти чужой и всегда лишний. А мне с вами хорошо. Будем жить, как до этого жили.

Веру Петровну слова юноши растрогали до слёз, на этот раз радостных. Она тоже не хотела расставаться с Олегом, потому что не представляла себе жизнь в одиночестве без того, чтобы не заботиться о ком-нибудь и не хлопотать вокруг него с утра до ночи.

Скоро приехал Уваров, он был бледен, но внутренне собран и сразу взялся за телефон: позвонил на авиазавод, чтобы профсоюз оказал помощь деньгами, затем озадачил Зуева похоронными заботами. Надо было кому-то на следующий день забирать покойника из морга. Уваров взял это тягостное дело на себя, и когда гроб был доставлен в квартиру, приглашённые из церкви старушки начали отчитывать умершего. Двери в квартире не закрывали, проститься с Сергеем пришли соседи, приехала с авиазавода женщина, профорг цеха, где он работал, и отдала Вере Петровне конверт с деньгами.

– Сергея надо похоронить в отцовской могиле, – предложил Уваров.

– Так и сделаем, – согласилась с ним Вера Петровна. – Мне и Олегу удобнее будет к ним ходить.

Катафалк прибыл вовремя, несколько парней взяли гроб на полотенца и вынесли во двор. На кладбище поехали всего несколько человек. Возле могилы Зуев посмотрел на Уварова:

– Может, скажешь несколько слов? Прекрасный был человек...

– О чём говорить? Что для него наши слова?

Гроб опустили в могилу, засыпали песчаной землей, поправили дубовый крест и отправились домой, на поминальный обед. Отойдя от могилы на несколько шагов, Олег обернулся и разрыдался до истерики. Уваров и Зуев взяли его под руки и кое-как усадили в автобус. Бывалый шофёр, смекнув, что парня можно вывести из припадка только мужским способом, сунул ему в руку почти полный стакан водки:

– Помяни, легче станет!

Олег, морщась и стуча зубами о край стакана, опорожнил его досуха, стёр с лица чистым платком слёзы и попросил сигарету. Уваров подал ему пачку и щёлкнул зажигалкой.

Поминальный обед делали в кафе рядом с домом. Зуев и Уваров не засиделись за столом, помянули друга, вышли в сквер, где присели на скамейку. За два дня они успели приглядеться друг к другу и почти подружиться.

– Я почти ничего не знаю о том, чем Сергей занимался в деревне, – сказал Уваров. – Вроде восстанавливал храм, потом эта трагедия...

– У него непременно всё бы получилось, если бы не эта беда. И вот что скажу: мне заниматься этим делом некогда, а ты мужик пробивной, – Зуев пристально посмотрел на Уварова. – Давай хоть чем-нибудь поможем восстановить храм в Хмельёвке. Это же его дело, пусть оно станет нашим.

На Руси много раздаётся прекраснодушных обещаний, но этот разговор не остался без последствий. Прошло несколько месяцев, и после Нового года жизнь Уварова круто переменялась. Он наконец-то понял правоту Размахова, что русское общество, как, впрочем, и все другие объединения по национальному признаку, бестолково по

своей сути. Его прозрению способствовало и то, что «Гамаюн» стал местом склок и разборок на темы, далёкие от тех, которые были заявлены при его создании. Но Уваров был от природы деятельным человеком и не мог долго пребывать в одиночестве. Поразмыслив, он повернулся к православию, стал посещать церковные службы, сблизился со священнослужителями и, получив благословение епископа, создал фонд возрождения храма во имя преподобного Сергия Радонежского в селе Хмелёвка.

Зуев был в курсе уваровского проекта, он даже стал одним из соучредителей фонда, вовлёк в него зажиточных кооператоров из «афганцев», и уже к маю фонд располагал суммой, достаточной, чтобы приступить к капитальному ремонту храма. Уваров и Зуев поехали в Хмелёвку, где их весьма благожелательно встретил отец Владимир, успевший за короткое время обосноваться в своём приходе. Он жил у Колпакова и сумел себя поставить в отношениях с председателем колхоза и председателем сельсовета как новая пришедшая всерьёз и надолго духовная власть, чему два закоренелых атеиста безропотно подчинились, и возле храма и внутри его копошилась бригада колхозных строителей-ремонтников.

Дела шли ни шатко ни валко, мужики не торопились утром начать работу, а после обеда спешили её закончить. Уварова и Зуева они приняли за какое-то областное начальство и сначала помалкивали, но быстро разобрались, что к чему, и стали требовать улучшения условий труда, спецодежду, но в основном жаловались на низкий заработок.

— Креста на вас нет, а стыда — и подавно! — прикрикнул на них Колпаков, который, не глядя на свою неизлечимую хворь, потащился сопровождать приезжих. — Разбаловал вас батюшка, привыкли на повременке баклуши бить, но не всё коту масленица. Теперь будете вкалывать сдельно: как поработаете, так и полопаете!

Мнение бывалого старика получило поддержку не только у Зуева, Уварова и священника, но и у строителей. Составили договор, где определили объём работы и сумму оплаты, и дело стало спориться. Зуев уехал в город, а Уваров и отец Владимир в четыре глаза приглядывали за строителями, чтобы те исправно выполняли свою работу.

На ремонт помещения храма, по прикидке Уварова, тех денег, что имелись в фонде, было достаточно, но предстояли значительные траты на внутреннее убранство и на колокола. Второй раз идти по кооператорам Уваров не решился и, собравшись с духом, явился к самому председателю облисполкома Фролу Гордеевичу, благо, что охраны вокруг него пока ещё не было, секретарша куда-то из приёмной выбежала, и Уваров, осмелев, сунулся в самый высокий кабинет области.

— Ну и чего ты застрял в дверях? — проворчал хозяин, отставляя в сторону стакан чая в подстаканнике. — Заходи, раз явился, только излагай дело ясно и коротко.

Уваров с некоторой дрожью в голосе изложил свою просьбу, присовокупив к ней пожелание:

— Хорошо бы всё сделать к восьмому октября, ко дню совершения памяти по преподобному и богоносному Сергию Радонежскому.

— Денег у меня нет, — помолчав, сказал Фрол Гордеевич. — Да они тебе и ни к чему: пока довезёшь их до завода, наполовину обесценятся. Получишь «узик» с завода и обменяешь его на колокольный звон. Может, он поможет нам пережить это безвременье, раз другого ничего не осталось.

Через два дня Уваров получил новёхонький, с конвейера, «узик», оформил на него документы, оставил машину в гараже Размахова и уехал на Урал. Назад он вернулся с утверждённым и подписанным директором завода договором на совершение сделки, а через два месяца в Хмелёвку прибыла машина с одним большим и тремя маленькими колоколами. К этому времени ремонт храма в основном был завершён, стены внутри и снаружи побелены, крыша где залатана, где перекрыта и покрашена краской-серебрянкой, окна застеклены, и со стороны храм смотрелся весело и призывно, приглашая каждого, кто только на него ни взглянет, войти в него и очистить свою душу искренним покаянием.

Колокола поднимали за неделю до дня памяти преподобного и богоносного Сергия Радонежского. Поглядеть на это событие собралась вся деревня, из города приехали Зуев, Олег, Вера Петровна. Уваров прибыл отдельно со звонарем соборной церкви, тот и распоряжался подъёмом колоколов. Работа заняла несколько часов, но люди не расходились. Наконец были подняты все колокола, из храма вышли рабочие, помогавшие звонарю, ещё несколько минут продолжалось молчание. Потом раздался мягкий, но мощный голос большого колокола, который подхватили малые колокола, и люди обнажили головы, и многие стали осенять себя спасительным крестным знаменем.